

И  
Л

Вирджиния Вулф

Флаш

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Вирджиния Вулф • Флаш





Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

**Virginia Woolf**

Вирджиния Вулф

## Флаш

Рассказы. Повесть

*Перевод с английского*

*Составление и предисловие  
Е. Гениевой*

Москва  
«Известия»  
1986

**И (Англ)**  
**В 88**

*Главный редактор Н. Т. Федоренко*

*Рецензент В. А. Скороденко*

*Обложка А. Князева*

© Составление, оформление, предисловие, перевод на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1986

## Она и музыка и слово...

Что есть искусство? Этот вопрос занимал Вирджинию Вулф всю жизнь. Впрочем, оно и не могло быть иначе. Дочь Лесли Стивена, одного из самых образованных людей викторианской эпохи, философа, историка, видного критика, который был близко знаком со многими английскими писателями, она выросла среди постоянных разговоров и споров о литературе, живописи, музыке. В доме ее отца в полном смысле решались судьбы английской литературы: здесь получали благословение начинающие писатели, ниспровергались общепризнанные авторитеты, обсуждались книги, которым суждено было стать вехами в искусстве. Поэтому что удивительного — детской комнатой Вирджинии была библиотека, напарником игр — Генри Джеймс. Повзрослев, Вирджиния Стивен, или Вирджиния Вулф после брака в 1912 году с Леонардом Вулфом, критиком, эссеистом, историком, сама стала душой «Блумсбери».

«Блумсбери» — известное место на карте английской литературы первых десятилетий XX века. Чаще всего его называют салоном или кружком. Но дело не в том, что в доме в центре Лондона, неподалеку от Британского музея, где поселились дети Лесли Стивена, по вечерам собирались молодые литераторы, которые до хрипоты, засиживаясь за полночь, спорили об искусстве. «Блумсбери» — это особый знак времени, когда на смену традиционному представлению об искусстве приходило новое, авангардистское. У литераторов, входивших в «Блумсбери», впрочем, не было четкой эстетической программы. Этот кружок объединил очень разных по своим творческим установкам, социальным взглядам, литературным пристрастиям молодых людей. Частыми гостями здесь были поэт Томас Стернс Элиот, философ Бертран Рассел, видный литературовед Роджер Фрай, критик и эссеист Литтон Стрэчи, романист Эдуард Морган Форстер.

Новичку, впервые попавшему на «блумсберийскую» вечеринку, бывало не по себе. Молодому Дэвиду Герберту Лоуренсу показалось, что он сходит с ума от нескончаемых бесед, участвовать в которых было делом совсем не легким. Говорили вроде бы о пустяках; но как-то незаметно, без всякого напряжения беседа переходила на только что открывшуюся в Лондоне выставку импрессионистов, вызвавшую у старшего поколения, воспитанного на академической живописи, взрыв негодования, а здесь, в «Блумсбери», принятую на ура. В этом салоне все знали назубок работы психолога Уильяма Джеймса, с легкой руки которого в их литературный обиход вошло понятие «поток сознания», зачитывались Зигмундом Фрейдом, которого почитали пророком, изучали Карла Юнга и его теорию архетипов. Любили Стерна и Монтеня, но их губы складывались в презрительную улыбку, когда кто-нибудь при них с похвалой отзывался об Арнольде Беннетте, Герберте Уэллсе или Голсуорси. Иными словами, бунтовали, как, впрочем, бунтует любое молодое поколение, отвергая старое. Легкость, с которой они пользовались, а нередко жонглировали философскими, этическими и эстетическими понятиями, поведение, в котором было немало позы,— все на поверку оказывалось формой, часто весьма уродливой, скрывающей суть, корни протеста. Судьба у этого поколения, молодость которого совпала с началом XX века, была особая. Они были свидетелями великой ломки: мир потрясла первая мировая война, уходила в прошлое целая эпоха, казалось, непоколебимого викторианства. В России свершилась революция: перед миром открывались новые горизонты. И хотя некоторые «блумсберийцы», например Леонард Вулф, отнеслись к 1917 году с явным сочувствием, все же понять происходящее круг, к которому принадлежала Вирджиния Вулф, не смог, что повергло их в еще большее недоумение и растерянность. Наступила, по словам Вирджинии Вулф, «эпоха фрагментарного сознания».

Так что же нового внесла в понимание искусства самая талантливая из «блумсберийцев», Вирджиния Вулф? Ответ на этот вопрос легко найти, обратившись к произведениям,

составившим этот сборник, и в первую очередь — к рассказам, многие из которых оказались творческими манифестами Вирджинии Вулф.

Сейчас, когда открытия Вирджинии Вулф, Джеймса Джойса, Дэвида Герберта Лоуренса давно уже освоены современной западной прозой, а их новаторство определяется словом «традиция» (например, в творчестве Фолкнера, Т. Вулфа), трудно себе представить, какой взрыв негодования вызвали у приверженцев классической прозы рассказы «Дом с привидениями», «Понедельник ли, вторник...», «Пятно на стене», «Струнный квартет», «Ненаписанный роман», «Фазанья охота». Особенно, пожалуй, четыре первых, которые и рассказами-то назвать невозможно. Ни сюжета, никакой временной и географической определенности; если и мелькнут, как тени, какие-то персонажи, то разве это герои в классическом понимании этого слова? Стихотворения в прозе? А может быть, и того проще — заготовки для будущих произведений, листки черновиков? Да, некоторые вошли, конечно видоизменившись, в ее романы. Сценка со столкнувшимися омнибусами в Лондоне в полдень («Понедельник ли, вторник...») разрослась до большой сцены в «Миссис Дэллоуэй» (1925), «Ненаписанный роман» легко узнается в одном из самых зрелых произведений Вирджинии Вулф «Волны» (1931) и в последнем романе, «Между актами» (1941). И все же это самостоятельные, отдельные, художественно продуманные произведения. И если уж надо подобрать жанровое определение, то это, видимо, лирическое эссе или — что еще вернее — зарисовка настроения, психологического состояния, попытка средствами языка, слова передать ощущение, не столько саму мысль, сколько процесс мышления, поиски истины. Нечто похожее видим на полотнах Моне, где стог сена изображен при разном освещении. Разумеется, дело не в стоге сена, а в том, как его воспринимает субъект, сознание в разное время дня — утром, днем, вечером, какие эмоционально-психологические состояния возникают при этом и как изменяется наше понимание окружающего мира. Недаром в рассказе «Понедельник ли,



вторник...» так часто повторяется слово «истина». И в самом деле, что это? Истина, дает понять Вирджиния Вулф, в силу своей изменчивой, зыбкой, неуловимой природы противится какому-либо насилию, рациональному анализу. Ее можно лишь ощутить, вдруг по-иному взглянув на купол собора, озаренный солнцем, или ночное, усыпанное звездами небо. Быть может, музыка владеет этой тайной? И Вирджиния Вулф в своем программном рассказе «Струнный квартет» пытается сделать невозможное — передать словом музыку. Надо заметить, что в эти годы не только Вирджиния Вулф ставила перед собой столь дерзкую задачу. Один из эпизодов романа Джеймса Джойса «Улисс» (1922) — «Сирены» — написан по законам фуги. И в творчестве самой Вирджинии Вулф «музыкальная проза» не случайность. Роман «Волны» создавался как «роман-соната», и в его композиции, стиле действительно сделана попытка учесть законы этой музыкальной формы. Вообще многих писателей, музыкантов, художников первых десятилетий XX века неудержимо влечет идея синтеза. Рождается синкретическое искусство. Вспомним Скрябина и Чюрлёниса. Считать эту тягу случайностью невозможно. Если не найден философско-социальный стержень («эпоха фрагментарного сознания») и все чаще объективное видение заменяется субъективно-идеалистическим, пусть будет хотя бы центр эстетический. Только искусство, убеждает Вирджиния Вулф, соберет сколки бытия, разрозненные листки опыта в мозаику, каждая частица которой занимает одной ей присущее место.

Мучаясь, как ее героиня Саша Лейзем в рассказе «Итог», вопросом: какой же взгляд истинный? — и прекрасно понимая, что «можно взглянуть на дом... и так и эдак», Вирджиния Вулф показала смысл своих расхождений с викторианцами и их преемниками в искусстве, эдвардианцами, на практике.

Прочитав заглавие «Дом с привидениями», ждешь чего-нибудь в духе Анны Рэдклифф или Оскара Уайльда («Кентервильское привидение»). Есть призраки и в рассказе-зарисовке Вирджинии Вулф. Но они какие-то другие, «некласси-

ческие»... Бесшумно, боясь потревожить покой хозяев, они ступают по лестнице, взявшись за руки, — кто они, мужчина и женщина? — что-то ищут в углах дома. Ищут сокровище, а им оказывается радость, оставленная в доме и обретшая свое пристанище в душах хозяев.

Ждешь ужасов, приключений, получаешь поэтическое, но по своей литературной сути полемическое эссе. (Кстати, Вирджиния Вулф воссоздала в этом рассказе любимый ею Эшем-хаус в Суссексе, где она часто отдыхала с Леонардом Вулфом.) Нам труднее: более полувека прошло с тех пор, как были написаны эти рассказы, — современники же сразу узнавали в «Пятне на стене», «Ненаписанном романе», «Фазаньей охоте» полемику с Арнольдом Беннеттом, его теорией объективной детали. Если тщательно и вдумчиво, полагал писатель, воспроизвести на страницах повести, рассказа или романа облик героя, рассказать о его профессии, годовом доходе и т. п., характер будет выписан и ясен читателю. А вот и нет, возражает всей логикой повествования и в «Пятне на стене», и в «Ненаписанном романе», и в «Фазаньей охоте» Вирджиния Вулф.

Жизнь, «обожаемый мир», как она пишет в конце «Ненаписанного романа», загадочна, а потому непредсказуема. В поезде едут женщины. Всматриваясь в их лица, вглядываясь в выражение глаз, подмечая у Минни Марш какой-нибудь неожиданный штрих, повадку, привычку (нервную чесотку), Вирджиния Вулф старается прочитать книгу их жизни, выстроить их судьбу, понять психологию. Но оказывается — «чуть-чуть» так не поймает. И вот, доверившись воображению, самой дивной, самой раскрепощающей художника силе, Вирджиния Вулф резко меняет ракурс видения. Такая смена декораций, пожалуй, особенно ощутима в «Фазаньей охоте». Подчинившись воле автора, мы попадаем в некий фантастический, а то и фантазмагорический мир видения, сна, воспоминаний, ночного кошмара, подсознания. Здесь царство страстей, потрясений, смятения, комплексов, грехов, здесь срываются благопристойные маски, здесь на нас смотрят настоящие лица. Каноны эдвар-

дианской прозы не просто подвергаются сомнению, они самым решительным способом отвергаются: недаром в «Фазаньей охоте» портрет короля Эдуарда падает на пол.

И все же — о чем эта проза? Об охоте, нравах в английской глуши («Фазанья охота»), о том, как мыкалась всю жизнь, виня себя в смерти (или увечье?) маленького брата, несчастная Минни Марш («Ненаписанный роман»)?

Пересказывать содержание рассказов Вирджинии Вулф — предприятие, заведомо обреченное на неудачу. Как можно пересказать намек, ощущение, выразить языком фактов прозу, где слова мерцают, будто капли росы на озаренной солнцем паутине, или шуршат, как опавшие, гонимые ветром листья в опустевшем осеннем саду. Что-то все время ускользает от тебя; вот ты снова перечитала рассказ, но помнишь его целиком лишь мгновение и снова мучаешься вопросом — так о чем он? Но ведь нельзя передать словами молчание, рассказать, что чувствует в каждую минуту душа.

Душа — главное философское и художественное понятие в искусстве Вирджинии Вулф, итог ее размышлений об истине. Недаром именно слово «Итог» вынесено в заглавие рассказа, где героиня, конечно же специально названная на русский манер Сашей, рассуждает о том, что же такое душа.

Русская тема — особая проблема в искусстве и в жизни Вирджинии Вулф. Она изучала русский язык, и, судя по ее дневниковым записям, это было не мимолетное увлечение, но осознанное намерение приблизиться к культуре, которую для нее олицетворяли великие имена Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Она не раз писала о них, неплохо знала и Аксакова, и Горького, а ее статья «Русская точка зрения» — не менее программная для Вирджинии Вулф работа, чем «Мистер Беннетт и миссис Браун». Русские, подчеркивала она, обладают тем, чем еще только предстоит овладеть англичанам с «их безупречным чувством юмора и комического», — умением писать о том, что имеет непреходящее значение, но при этом оставаться в гуще событий и самых жгучих проблем своего времени. Для Вирджинии Вулф это и есть знак великого искусства. Русских она воспринимала и как

революционеров формы: они с легкостью отбрасывают повествовательные условности ради того, чтобы в нервных, каких-то сбивчивых, путаных фразах описать главное, что они никогда не выпускают из поля своего зрения,— жизнь души.

Этой тоской по пронзительной славянской духовности пропитан и рассказ «Лапин и Лапина», где русская тема уже обозначена в заглавии. При всей фантастичности и странности сюжета (английский джентльмен среднего достатка, эдакий середнячок, в снах и в грезах наяву своей молодой жены Розалинды превращается в кролика, сказочного царя Лапина, хозяина лесного приволья, а она сама становится красавицей зайчихой, тоже царицей,— свободной и целыми днями носящейся по просторам) — это рассказ об одиночестве души, задыхающейся в мещанской, пошлой обстановке, где тесно не только от громоздких буфетов, но и от вязких, никчемных, тупых мыслей и выхолощенных чувств. Пожалуй, это один из первых рассказов в западной литературе, где так остро поставлены проблемы отчуждения и расщепления личности, духовного здоровья, которое в «вывихнутом» XX веке иногда принимает форму «конька», странностей, а то и сумасшествия. В самом деле, нормальны ли Розалинда или герой рассказа «Реальные предметы», который, к полному недоумению своих друзей по университету, быстро продвигающихся по службе, махнул рукой на карьеру и увлекся коллекционированием предметов причудливой формы?! Конечно, странность, но, как и в случае с Розалиндой, протест, пусть несознательный, против потребительской психологии, вещизма, материальности цивилизации. Пройдет каких-нибудь тридцать — сорок лет, и именно эти темы станут центральными в западноевропейской и американской литературе. Немаловажно и то, что Розалинда Вирджинии Вулф внешним, а уж тем более внутренним обликом напоминает простых, но мудрых сердцем героинь русских писателей.

А какая она, личность? Ее суть так же трудно поймать, как познать истину. Не потому ли в поэтике Вирджинии Вулф столь важен образ зеркала («Женщина в зеркале»)? Глянув

в зеркала Вирджинии Вулф, увидишь не свое отражение и не привычные, знакомые чуть ли не с детства предметы. Встретишься взглядом с кем-то, кто, видимо, и есть твое «я», или же познакомишься с твоим материализовавшимся представлением о себе. Да и предметы под влиянием причудливо упавшего света (еще один образ-лейтмотив в прозе Вирджинии Вулф, на котором, в частности, построен рассказ «Прожектор») вдруг приобретут диковинные очертания, оживут, как в какой-нибудь романтической сказке, и выпустят из своих тайников пленницу — Правду.

В классическом искусстве детали быта, среды играли огромную роль. В доме гордеца Домби и мебель казалась холодной. Человек и вещь слились, хотя у позднего Диккенса («Большие надежды») вещи уже начали обретать самостоятельную, независимую от хозяев жизнь, переставали быть слугами, становились деспотами. Начался процесс отчуждения. Льюис Кэрролл властно ввел в искусство идею зеркала. Мир дрогнул, очертания заколебались; истина — куда делась ее определенность? А вот уже и двойники — их имена вынесены в заглавие повести Р. Л. Стивенсона «Странная история д-ра Джекиля и мистера Хайда». Его, знаменитого автора «Острова сокровищ», мучила догадка, превратившаяся в убеждение у писателей XX века, что в одном человеке живет по меньшей мере два, что свет и тьма перемешаны, что дневная сущность часто скрывает ночную, что видимость обманчива. Какие они, персонажи Стивенсона, любимого Вирджинией Вулф Мередита, какие они, герои и героини самой писательницы? Хорошие, плохие? Кто рупор идей автора и, наконец, кто он, автор? Нет, в этой прозе нет и не может быть деления на черное и белое, все, даже самые общие положения и понятия требуют пересмотра, какого-то иного взгляда. Вот почему так намеренно сбивчив сюжет рассказа «Ненаписанный роман». Впрочем, набор понятий, представлений, необходимых для построения классического произведения, налицо. Но они все время, как хорошим профессиональным игроком, тасуются автором. А вдруг такой порядок правильнее, другая комбинация вер-

нее? Или вообще нет, даже для мастера, этой конечной абсолютной комбинации?

Но у Вирджинии Вулф это не изощренная «игра в бисер». На писателя — об этом не раз говорила Вирджиния Вулф — возложена огромная ответственность: не погрешить против правды. Ведь в конечном итоге об этом рассказ «Ненаписанный роман». Не слепо довериться традиции, поверив в спасительное «так всегда писали и думали», но вечно, вечно искать.

Вернемся к русским классикам. Хотя они, особенно Толстой, страшили Вирджинию Вулф своей этической определенностью, особенно Толстой, у них она получила и еще один важный урок — демократизма. Потомственная леди, в западе спора называвшая себя «снобом», она умела с глубоким, подлинным уважением писать о простых, обычных людях. Она не унижала их своим снисходительным сочувствием, но в каждом видела личность, достойную внимания писателя. Впрочем, уважение не мешало ей быть и ироничной. Принадлежность к лагерю «маленьких людей» для нее еще не гарантия абсолютной человеческой доброкачественности. Мейбл («Новое платье»), Прикетт Эллис и мисс О'Киф («Люби ближнего своего») вполне могли бы стать героями английского классического романа. Мейбл из «униженных и оскорбленных», Прикетт Эллис — честный труженик, нелегким трудом зарабатывающий себе на жизнь. Он, как мисс О'Киф, любит «своих ближних», страдает им. Но безжалостный взгляд писательницы рассекает внешнюю оболочку: сколько же в них эгоизма, себялюбия и самолюбия, не меньше, чем в светских снобах Ричарде Дэллоуэе и его важных друзьях, этих представителей «шаблонно-гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа»\*.

Кстати, «Новое платье», «Вместе и порознь», «Люби ближнего своего», «Предки» тематически и сюжетно примыкают к «Миссис Дэллоуэй» (1925), а главные героини этого

\* В. Вулф. «Миссис Дэллоуэй». Перев. Е. Суриц. «Иностранная литература» 1984, № 4.

романа несколько раз мелькают на страницах рассказов. Это особая группа произведений. Увидели они свет только после смерти писательницы, в 1944 году, когда Леонард Вулф объединил ранние рассказы из сборника «Понедельник ли, вторник...» (1921) и те, что не были опубликованы при жизни Вирджинии Вулф, в сборник под названием «Дом с привидениями». Вирджиния Вулф, вспоминает Леонард Вулф, писала рассказы все время. Если какое-нибудь событие или же впечатление привлекали ее внимание, она обычно записывала их. Потом не раз возвращалась к наброскам, и так рождался рассказ. Но из-за крайне пристрастного отношения к собственному труду она по большей части считала, что эти небольшие вещицы еще не готовы, что им самое время полежать, дожидаясь своего часа, в ящике письменного стола.

О в высшей степени требовательном отношении к своему искусству говорят и рассказы, связанные с романом «Миссис Дэллоуэй». Почему они не вошли в него? Чувство меры, художественной гармонии — один из важнейших критериев искусства Вирджинии Вулф. Чрезмерность — идейная, стилистическая, словесная — казалась ей губительной. Здесь, кстати, начинался ее спор с Джойсом. Она не приняла ни чрезмерного физиологизма в его «потоке сознания», ни дерзкого, но часто, на ее вкус, безоглядного формо-творчества.

Но ведь и у самой Вирджинии Вулф есть тяга к модерну. Есть и формальный эксперимент: поэтическая, аллитерационная, ассоциативная проза и некоторый герметизм. В самом деле, разве без подсказки можно понять, почему в «Фазаньей охоте» со стены падает портрет короля Эдуарда?

И все же, оценивая вклад Вирджинии Вулф в литературу, видимо, важно помнить, что эта писательница, в отличие от Джойса, который после «Улисса» создал «Поминки по Финнегану», произведение, недоступное обычному читателю, бывала очень разной, причем сознательно разной. Рядом с импрессионистическим «Пятном на стене» есть рассказ «Наследство», произведение сюжетное, в котором легко

улавливается флорберовско-мопассановская и, конечно, чеховская традиция. А в конце жизни, перед тем как она написала откровенно экспериментальный роман «Между актами», она создала вполне реалистическое произведение «Годы». Особую стилистическую проблему представляют диалоги в прозе Вирджинии Вулф. Они невольно бросаются в глаза рядом с кружевной вязью ее описаний, резкими, неожиданными переключениями планов. Читателю XX века они могут показаться чуть ли не старомодными — до того все просто, обычно, будто говорят рядом с тобой люди... как в жизни. Она с крайней настороженностью отнеслась к «потoku сознания», но не потому, что не в состоянии была его освоить. Верная ученица Толстого, она разрабатывала и довела в английской прозе до совершенства «внутренний монолог». Она не выпускала из поля своего художественного зрения «обычного читателя». Не случайно, что именно так — «Обычный читатель» — она назвала сборник своих критических эссе, где постаралась взглянуть на историю литературы глазами неискушенного читателя, где высшим мерилom истины была для нее верность жизни, этому чуду творения, этому самому безжалостному судье.

В 1941 году Вирджинии Вулф не стало. Как шекспировская Офелия, она бросилась в реку, да еще, заказав себе путь назад, положила в карманы платья камни. Шла война, в дом Вулфов в Лондоне попала бомба, сгорела библиотека, погибли книги, ее друзья, символ разума и цивилизации. Она кончала роман «Между актами», силы были на пределе, и, как всегда, ей казалось, что все не так, не получилось, читатели не поймут ее замысел. Она еще не успела до конца оправиться от потрясения: в Испании погиб ее любимый племянник, молодой поэт Джулиан Белл, член Интернациональной бригады. И другая смерть, Леонарда Вулфа, еврея, казалась ей почти неизбежной в мире, который собирался подмять и уничтожить Гитлер.

Все, кто знал Вирджинию Вулф, не могли примириться



с ее уходом. Смерть так не вязалась с обликом этой женщины, ненасытно любившей жизнь.

Ей было интересно все: и литературные, и бытовые новости. Остроумная, оживленная, она была душой и украшением любого общества. Для Джулиана Белла не было в детстве лучшего подарка, чем приезд тетки. «Если придет Вирджиния, будет весело, посмеемся».

И у нас, ее сегодняшних читателей, есть возможность посмеяться над шутками Вирджинии Вулф.

Этот автор серьезных романов написала биографию... собаки, спаниеля Флаша, который был верным другом английской поэтессы Элизабет Браунинг.

Работая в 1933 году над биографией видного критика, «блумсберийца» и ее друга Роджера Фрая, Вирджиния Вулф почувствовала, что надо сделать передышку. Труден был и сам материал — эстетика Фрая, к тому же ей была слишком близка и дорога сама фигура, чтобы писать легко и непринужденно. Вот она и решила написать биографию полегче.

Нет, мы не оговорились: «Флаш» — биография собаки. Или если взглянуть на эту повесть с сугубо литературной точки зрения, то это «роман воспитания», только герой в нем — умный, милый, добрый спаниель. Но здесь все «по-настоящему», совсем как в «Дэвиде Копперфилде». История семьи Флаша и его древнего рода (простите — породы); рассказ о детстве и отрочестве (первая влюбленность, муки ревности); о годах странствий (Флаш вместе с хозяйкой переезжает в Италию); о зрелости и приходящей с ней мудрости; о смерти. Не обошлось и без детектива — Флаша похитили. Ну а как же можно без писем?! Конечно, их пишет не Флаш, а Элизабет Браунинг. Но из ее переписки (чем не викторианский роман?) мы черпаем новые подробности о характере, личности Флаша и в то же время узнаем немало и о чете Браунингов.

Может быть, именно потому, что «Флаш» — пародия, мы видим особенно ясно сам принцип действия механизма, который можно назвать «литературная критика» Вирджинии

Вулф. Что бы она ни писала, она всегда создает классическое, легкое английское эссе, полное иронии, тонких наблюдений над миром и человеком. Читающего не покидает ощущение, что она ведет именно с ним, и только с ним, разговор запросто, и потому мы — все внимание, наше сознание пробуждается, мы уже готовы думать над самыми серьезными проблемами. Она как будто и не пишет о них. Но в том-то и секрет ее поразительного дара, что она умела увидеть в характере, в судьбе главное, потому мы закрываем книгу, немало узнав о поэзии Браунингов и даже об английском романтизме.

Давно отшумели споры о «Блумсбери», да и сама экспериментальная проза Вирджинии Вулф уже часть классического наследия литературы XX века. Читателю, который откроет этот томик, будет ценно другое. Вирджиния Вулф знала что-то очень важное о жизни и умела об этом рассказать, найдя удивительные слова, в которых ей удалось передать, наверное, самое трудное — жизнь души.

*Е. Гениева*



Вирджиния Вулф в своем рабочем кабинете  
на Тэвисток-сквер в Лондоне. 1939 г.

## Дом с привидениями

Порою, очнувшись, слышишь, как тихо стукнула дверь. Это по дому, рука об руку, проходили они, что-то трогали, куда-то заглядывали, что-то искали здесь и там — два призрака.

«Это здесь», — говорила она. «И там тоже!» — подхватывал он. «И наверху», — чуть слышно вздыхала она. «И в саду», — шептал он. «Тише, — повторяли оба, — не разбуди их».

Но вы не будили нас. Нет. «Они что-то ищут: вот отодвигают штору, — скажешь себе и пробежишь глазами одну-две страницы. — Наконец-то отыскали», — вздохнешь с облегчением и сделаешь пометку на полях. Потом, устав от чтения, отложишь книгу, оглядишься: в доме никого, все двери настежь, блаженно воркуют лесные голуби, да с фермы доносится треск молотилки. «Зачем я здесь? Что ищущ?» Руки мои пусты. «Может быть, наверху?» Там, на чердаке, яблоки. И снова вниз; в саду все недвижно, только книга соскользнула в траву.

Они нашли это в гостиной. И никто не увидел их. В окне отражались яблоки, отражались розы; зеленели в стекле листья. Едва они вошли, как яблоко чуть заметно повернулось золотистым бочком. Двери распахнуты, и вот уже что-то стелилось по полу, поднималось по стенам, оплетало потолок — что это? Руки мои пусты. По ковру скользнула тень пролетевшего дрозда; из бездонной тишины выплывало голубиное воркование. «Тут, тут, тут, — тихо выстукивало сердце дома. — Сокровище тут; комната...» Внезапно дом затих. Значит, они искали сокровище?

Но свет тотчас померк. Может, это в саду? Там тьма пряла свою пряжу, опутывала деревья, подстерегая заблудившийся солнечный луч. Хрупкий, легкий луч, холодно пронзавший сумрак, луч, томивший меня, все сиял за стеклом. Смерть — это стекло; смерть разделяет нас; сотни лет назад она первой увела с собой женщину, осиротила дом, наглухо завесила окна, наполнила комнаты тьмой. Он покинул дом, покинул ее, отправился на север, потом на восток, видел звезды, плывущие в южном небе; вернулся к холодному очагу у подножья холмов. «Тут, тут, тут,— радостно билось сердце дома.— Сокровище — твое».

Ветер бушует в аллее. Раскачивает деревья, гнет их. Лунные брызги осыпают сад, мечутся под дождем. Но из окна струится ровный свет. Свеча горит спокойно и ярко. Два призрака кружат по дому, распахивают окна, перешептываются, боясь разбудить нас, ищут свою радость.

«Здесь мы спали», — говорит она. «И целовались, целовались...» — подхватывает он. «Просыпались утром...» — «Деревья за окном в серебристом сиянии...» — «Наверху...» — «В саду...» — «Летом...» — «Снежной зимой...» В глубине дома одна за другой с тихим стуком закрываются двери, точно бьется сердце.

Все ближе они; замерли на пороге. Ветер налетает на дом, серебристые капли дождя бегут по траве. Тьма застилает нам глаза; мы не слышим шагов; не видим женщины, простершей над нами свой мглистый плащ. Он прикрывает рукой фонарь. «Взгляни,— шепчет он.— Как крепко спят. На их устах печать любви».

Приподняв серебряную лампу, они наклоняются, долго, пристально смотрят на нас. Долго стоят рядом. Налетает ветер; вздрагивает пламя свечи. Лучи лунного света пугливо скользят по полу, по стене и, скрестившись, падают на склоненные лица; они в глубокой задумчивости; вглядываясь в спящих, два призрака ищут притаившуюся радость.

«Тут, тут, тут», — ликует сердце дома. «Как давно...» — вздыхает он. «Снова ты нашел меня». — «Здесь мы спали,— шепчет она,— читали в саду; смеялись и рассыпали яблоки

на чердаке. Здесь наше сокровище...» Свет лампы касается моих век. «Тут! Тут! Тут!» — неистово колотится сердце дома. Я просыпаюсь и восклицаю: «Так это ваше сокровище? Свет в душе».

## Понедельник ли, вторник...

Лениво и отрешенно, плавно рассекая пространство крыльями, над самым куполом собора летит куда-то цапля. Высокое и светлое небо, ко всему безучастное, то скроется за облаками, то гонит их прочь, вечно новое и вечно неизменное. Озеро? Выплеснись из берегов! Гора? О чудо — солнце золотит ее склоны. Тает гора. И вот уже папоротники, или белые перья, и нет конца, нет конца...

Жажда истины, предчувствие ее, неустанные поиски слова, вечная жажда, — (срывается и катится крик влево и вправо. В стороны разъезжаются колеса. Сталкиваются омнибусы, вздыбливаются железной грудой), — вечная жажда (двенадцать гулких ударов возвещают полдень; золотым дождем льется свет; кружатся стайки детей), — вечная жажда истины. Пламенеет купол собора; листья на деревьях будто монеты; тянется дым над крышами; лай, гомон, крик «Продается железо!» — истина?

Веером ноги, мужские и женские, черные и затянутые золотистой паутиной — (Такая сырая погода — С сахаром? — Нет, благодарю — Общество будущего), — вспыхивает огонь в камине, озаряет комнату красным светом, только чернеют силуэты и блестят глаза, за окном разгружают фургон, мисс Липучкинс пьет чай у конторки, зеркальное стекло витрины хранит меха...

Сирий сухой лист, кружит его ветер на перекрестке, гонит под колеса, серебром на нем капли, где-то приютится и снова бездомный, сметут с такими же в кучу, раскидают, рассеют по одному, взмывает он вверх и падает, прахом уходит в землю и возрождается — истина?

Грезишь у камина, глядя на белую мраморную плиту. Из ее матовой глубины проступают слова, наливаются чернотой, обретают форму, надвигаются. Упала книга; что же, пламя, дым, всполохи искр — или парение, кренится мраморная плита, проплывают внизу минареты, далекие моря, тонешь в небесной лазури, видишь мерцание звезд — истина? Ну что, теперь ты к ней ближе?

Лениво и отрешенно возвращается цапля; небо то скроет звезды под своим пологом, то раскроет их.

## Ненаписанный роман

Вид у нее до того несчастный, что его одного достаточно, чтобы перевести взгляд с газеты на лицо этой бедняги — решительно ничем не примечательное, не будь оно до того несчастным, а так — чуть ли не символ удела человеческого. Жизнь — то, что видишь в глазах людей; жизнь — то, что они узнают, а раз узнав, как ни тщись они скрыть, им никогда не забыть — чего? Скорее всего того, что жизнь есть жизнь. Пять лиц напротив — пять взрослых лиц, — и какой опыт стоит за каждым! И все стремятся утаить его — вот ведь что удивительно. На всех лицах меты сдержанности; губы сжаты, глаза прикрыты, все силится утаить или умалить свой опыт. Один курит; другой читает; третий проверяет записи в блокноте; четвертый изучает карту железной дороги на противоположной стене, а пятая, пятая ничего не делает — вот в чем весь ужас. Она смотрит на жизнь. Бедняга моя незадачливая, не нарушай условий игры — ну, пожалуйста, ради всех нас, таись!

Словно услышав меня, она подняла глаза, заерзала, вздохнула. Казалось, она разом и просит у меня прощения, и говорит: «Знали бы вы». И снова стала смотреть на жизнь. «А я знаю, — без слов ответила я, приличия ради опустив глаза в «Таймс». — Знаю все. «Вчера в Париже подписан мирный договор между Германией и державами Антанты... Синь-

ор Нитти\*, итальянский премьер-министр... В Донкастере произошло столкновение пассажирского поезда с товарным...» Все мы знаем — «Таймс» знает, но прикидываемся, будто не знаем». Взгляд мой опять скользнул поверх газеты. Она перевернулась, вывернув руку, почесала между лопатками и покачала головой. И вновь я окунулась в великий источник жизни. «Что ни возьми,— продолжала я,— рождения, смерти, браки, придворную хронику, привычки птиц, Леонардо да Винчи, Сандхилльское убийство, большие оклады, стоимость жизни, да что ни возьми,— повторила я,— в «Таймсе» найдешь все». И вновь она бесконечно утомленно закачала головой из стороны в сторону, пока голова ее не замерла, как юла, которой надоело вращаться.

От такого горя, как ее, «Таймсом» не защититься. Но при других не очень-то поговоришь. Чтобы оградиться от жизни, лучше всего сложить газету аккуратным квадратиком, хрустящим, плотным — такой даже жизни не одолеть. Покончив с этим, я подняла глаза: теперь я в безопасности — вот мой заслон. Заслон не помог; она пронзила меня взглядом так, словно выискивала в моих глазах хоть крупницу мужества, с тем чтобы обратить ее в прах. Одна ее чесотка чего стоила — она развеивала все надежды, рассеивала все иллюзии.

И так мы с грохотом промчались по Суррею и через границу в Суссекс. Изучая жизнь, я не заметила, как остальные пассажиры вышли один за другим и мы — если не считать мужчины, читавшего газету,— остались одни в купе. А вот и станция Три Моста. Поезд пополз вдоль платформы и остановился. Выйдет ли здесь наш попутчик? Я сама не знала, о чем молить,— и в конце концов помолилась, чтобы он остался. И в ту же секунду он поднялся, небрежно скомкал газету, явно отслужившую свою службу, распахнул дверь настежь и оставил нас наедине.

Бедняга наклонилась ко мне и завела тусклый, бесцветный

\* Нитти Франческо Саверио (1868—1953) — один из лидеров итальянских либералов, в 1919—1920 гг. — глава правительства. (*Здесь и далее — примечания переводчиков.*)



разговор о том, какие станции мы проезжаем, как она отдыхала, о своих братьях в Истборне, о том, что зима в этом году — теперь уж не припомню — то ли ранняя, то ли поздняя. И наконец, выглянув в окно — но что она могла там увидеть? — только жизнь, — шепнула: «Уезжать из дому — хуже нет». Вот оно, сейчас выясним, что ее терзает! «Моя невестка, — горечь в ее голосе едкая, как лимон, — и, обратясь не ко мне, сама к себе, пробормотала: — Ей что ни скажи, говорит «ерунда», и они за ней вслед», а меж тем она ежилась так, словно у нее спина в мурашках, как кожа у ошипанной курицы в витрине мясника.

— Ну и корова! — судорожно прервалась она — можно было подумать, будто огромная тупая корова, пасущаяся на лугу, напугав ее, спасла от излишней откровенности. Дальше она передернулась, а дальше так же неловко, как и прежде, вывернула руку, словно у нее пекло или зудело между лопатками. И вновь мне показалось, что несчастнее ее нет женщины на свете, и вновь я попрекнула ее, хоть и без прежней убежденности: ведь будь ее несчастья не беспричинны и будь их причины мне известны, тогда ее нельзя осуждать.

— Невестки, они... — начала я.

Губы ее сжались, словно готовясь изрыгнуть хулу; и так и не разжались. Она лишь сняла перчатки и стала стирать грязь с окна. Терла с сердцем, будто хотела стереть навек, но что — пятно, заразу? И тем не менее, как она ни терла, пятно не поддавалось, и она откинулась назад, и вновь ее передернуло, и вновь рука ее потянулась к спине, оправдывая мои ожидания. Бог знает, что заставило меня снять перчатку и в свою очередь приняться тереть мое окно. Оно тоже было в одном месте запачкано. Но как я ни терла, грязь не сходила. И тут меня тоже передернуло; я потянулась рукой к спине. Ощущение было такое, будто кожа у меня отсырела, как у ошипанного цыпленка в витрине мясника; между лопатками зудело, свербело, мокло, саднило. Достанет ли дотуда моя рука? Я украдкой вытянула руку. Она заметила это. По лицу ее мелькнула улыбка и скрылась — и какая

насмешка, какая жалость просквозила в ней! Но она выдала, открыла свою тайну, заразила своей заразой; к чему теперь слова? Я откинулась на спину в своем углу, заслонилась от нее, и, видя перед собой лишь холмы и лощины, серые и лиловые краски зимы, я разглядывала ее, проникала в ее тайну, проникала под ее нацеленным на меня взглядом.

Хильда зовут невестку? Хильда? Хильда Марш — Хильда, она цветущая, пышногрудая, степенная. Хильда встречает такси на пороге, держит деньги наготове. «Бедняжка Минни, до чего высохла, щепка щепкой, и плащ с прошлого года еще обносился. Но при двух-то детях больше от себя не отрвешь. Не надо, Минни, я приготовила; держите... не на ту напали, водитель. Проходи, Минни. Да я б и тебя внесла, не то что твою корзину.— И они проходят в столовую.— А вот и тетя Минни, дети».

Кулаки с зажатыми в них ножами и вилками медленно опускаются. Они (Боб и Барбара) сползают со стульев, чинно тянут руки и опять заползают на стулья; куснут и тарашатся, куснут и тарашатся. [Но мы пройдем мимо; мимо безделушек, фарфорового блюда в листиках клевера, желтых прямоугольников сыра, белых квадратиков печенья — мимо, впрочем, нет, погодите-ка! Посреди обеда она вновь передергивается; Боб, так и не вынув ложки изо рта, тарашится на нее. «Скорей доедай свой пудинг, Боб»; и все же Хильда недовольна: «И чего бы ей корежиться?» Мимо, мимо, прямоком к лестнице наверх; ступеньки обиты медью; линолеум исшаркан; и вот наконец-то спальенка с видом на истборнские крыши — зигзагами, как гусеницы, бегущие туда-сюда полосы красного, желтого, крытые иссиня-черным шифером.] Ну вот, Минни, дверь заперта; Хильда, грузно ступая, спустилась в подвал; а ты отстегиваешь ремни на корзине, раскладываешь на кровати жалкую ночную рубашку, ставишь рядом войлочные тапочки с меховой опушкой. Зеркало — нет, ты не смотришься в зеркало. Аккуратно откалываешь булавки от шляпы. А вот и ракушечная шкатулка, интересно, что в ней? Ты трясешь ее; жемчужная запонка, та же, что в прошлом году, — только и всего. Дальше чихаешь,

вздыхаешь, садишься у окна. Три часа дня, на дворе декабрь; сеется дождик; один огонек светится совсем низко под стеклянной крышей большого галантерейного магазина; другой повыше, в комнатушке прислуги — этот, второй, гаснет. Смотреть больше не на что. Минутный пробел — о чем ты думаешь дальше? (Дай-ка гляну на скамью напротив; она дремлет, а может быть, и прикидывается; так вот, о чем бы она могла думать, сидя у окна в три часа дня? О здоровье, о деньгах, о горах, о боге?) Да, да, примостившись на краешке стула, Минни глядит вверх истборнских крыш и молится богу. Вот и отлично, и еще она может протереть стекло, чтобы лучше видеть бога, только какого бога она видит? И кто бог Минни Марш, бог истборнских задворков, бог трех часов пополудни? Крыши я тоже вижу, вижу и небо, но вот узреть бога! Скорее походит на президента Крюгера\*, чем на принца Альберта, — ничего лучше я не могу предложить; я вижу — вот он сидит на стуле в черном сюртуке и не так уж высоко; облако-другое я, пожалуй, могу расстараться — нужно же ему на чем-то восседать; дальше в руке его, возлежащей на облаках, появляется жезл — или это дубинка? — черная, толстенная, шишковатая, — он нравный старый самодур, бог Минни Марш! Не он ли наслал на нее зудеж и свербеж невтерпеж? Следы греха, вот что она стирает с окна. Ну конечно, на ее совести преступление!

Преступлений так много — только выбирай. Мчатся, мелькают леса — летом здесь залилоеуют колокольчики; придет весна, а там, в прогале, запестреют примулы. Здесь — верно? — они расстались двадцать лет назад. Нарушенный обет? Нет, это не для Минни!.. Минни — верная душа! Как она заботилась о матери! Все свои сбережения спустила на надгробье.. венки под стеклянными колпаками... нарциссы в кувшинах. Но я отвлеклась. Преступление... Они сказали бы, что она затаила горе, загнала вглубь свою тайну — тайну пола, так сказали бы они, ученые мужи. Но что за

\* Паулус Крюгер (1825—1904) — президент бурской республики Трансвааль в 1883—1902 гг. В период англо-бурской войны 1899—1902 гг. — один из руководителей сопротивления буров английским войскам.

вздор взваливать на *нее* еще и проблемы пола! Нет... скорее так. Двадцать лет тому назад, когда она шла по кройдонским улицам, блеснув в электрическом свете, лиловые ленты за зеркальным стеклом галантерейной лавки приковали ее взгляд. Она замешкалась у витрины — уже седьмой час. Если припустить побыстрее, можно еще поспеть домой. Протиснулась в крутящуюся дверь. Торговля в разгаре. На лотках пенятся ленты. Она замирает, тянет к себе эту, щупает ту, с тисненными выпуклыми розами. Не надо выбирать, не надо покупать, и каждый лоток таит в себе новые соблазны. «Мы закрываем только в семь», — уже семь. Она бежит, летит, спешит, и вот она дома — слишком поздно! Соседи — врач — братишка — чайник — ошпарился — больница — умер — или только испуг и раскаяние? Ах, да не важны мне подробности! Важно то, что теперь ей не избыть пятна, греха, вечной вины — вот она, между лопатками! «Да, похоже, — подтверждает она кивком, — так все и было».

Было или не было, и что было, какое мне дело; не в том суть. Лиловые ленты в лавке галантерейщика — этого достаточно; пусть пустяковое, пусть избитое, хоть преступлений так много — только выбирай, но большинство (дай-ка я еще раз брошу взгляд на скамейку напротив — все еще дремлет, а может быть, и прикидывается! В лице ни кровинки, исчащая, губы сжаты — видно, упрямая, вот чего никак не ожидала! — но какие уж тут тайны пола!), большинство из них не твои преступления; твое преступление пустяковое, только воздаяние серьезное; и вот открываются церковные ворота, жесткая деревянная скамья принимает ее; она преклоняет колена на темных плитах — ежедневно, зимой, летом, в сумерках, на заре (она и сейчас здесь) она молится. И грехи ее падают, падают, падают. И все — на пятно. Оно вспухло, оно пламенеет, оно пылает. И тут она передергивается. Мальчуганы тычут в нее пальцами. «Вот и Боб сегодня за обедом...» Но хуже нет пожилых женщин.

Ты и впрямь не можешь больше молиться — пора идти. Крюгер ушел под облака — его смыло, будто по нему прошлась кисть с серой краской, к которой примешали чу-

точку черного,— даже краешек дубинки пропал из виду. И всегда так! Стоит только узреть его, ощутить его присутствие — и тут же кто-то вторгается. На этот раз Хильда.

Как она тебе ненавистна! До чего дошла — ванную с вечера запирает, а тебе и всего-то нужно ополоснуться холодной водой; когда всю ночь проворочаешься без сна,— кажется, ополоснешься, и чуть полегче станет. А за завтраком Джон — и дети туда же, хуже всего за столом, а то еще и гости — и за папоротниками не утаиться от взглядов,— они тоже обо всем догадываются; и ты уходишь, бредишь по набережной — море катит серые волны, ветер гоняет бумажки, под зелеными стеклянными навесами гуляют сквозняки, за стулья берут по два пенса — экая дороговизна! — а то можно бы послушать проповедников. А вон негр... а вон тот какой — просто умора!.. а вон человек с попугаями — жалостные какие!.. Неужто здесь нет никого, кто бы думал о боге? — ведь вот он прямехонько над пирсом, и жезл в руке,— но нет — небо сплошь серое, а если и проглянет синева, белые облака тут же скроют его лик, и музыка — военный оркестр,— что это они тут удят? И улов бывает? А дети-то, дети глядят во все глаза! Ну что ж, а теперь домой задами... «Домой задами». В словах есть смысл; их мог произнести и тот старик с бородой — да нет, по правде говоря, он ничего не сказал; но смысл есть во всем; прислоненные к дверям плакаты — вывески над витринами — краснощекие яблоки в корзинах — женские головки за окнами парикмахерской — все говорят: «Минни Марш». И вдруг заело: «Яйца подешевели». И всегда так. Я вела ее к водопаду, прямой дорогой к умопомрачению, а она, как стадо овец, примерещившихся во сне, поворачивает, проскальзывает между пальцами. Яйца подешевели. Преступления, несчастья, восторги ли, помешательства ли не для Минни Марш — она прочно прикована цепями к земле\*; ни разу не

\* Обыгрываются строки из стихотворения А. Суинберна «Песня времен порядка»:

Вся земля закована в цепи  
И подачками куплен господь.

опоздала к обеду; ни разу дождь не застиг ее врасплох без плаща; ни разу не смогла забыть о том, что яйца подешевели. И вот она уже дома — вытирает ноги у дверей.

Правильно ли я тебя разгадала? Но человеческое лицо — человеческое лицо над убористой газетной страницей больше содержит, больше удерживает. Теперь глаза ее открыты, взгляд нацелен; а человеческий взгляд, — как бы точнее определить? — он открывает, отъединяет — стоит притронуться к стебельку, и мотылек вспорхнул — мотылек, что вечерами парит над желтым цветком; вскинешь, поднимешь руку, и он уже вспорхнул, воспарил, взмыл. Не подниму я руки. Пари, так уж и быть, порхай, жизнь, душа, дух — как тебя ни именовать — Минни Марш, — и я над своим цветком — и ястреб над зарей — всегда одиноко, иначе чего стоит наша жизнь? Взлететь; парить вечером, парить днем; парить над зарей. Мановение руки — взмыл, взлетел! И снова сел. Одинокий, никому не видимый; но видящий все — а под ним такой покой и такая красота! Ничего не видеть — ничего не чувствовать. Глаза других — наши узилища; их мысли — наши клетки. Воздух над тобой; воздух под тобой. И луна, и бессмертные... Ой, но я плюхаюсь с неба на землю. И ты в своем углу, ты тоже плюхнулась на землю, как там тебя — женщина — Минни Марш; тебя, кажется, так зовут? Вот она, вцепилась в свой цветок; открыла сумку, вынула из нее скорлупу — яйцо, — кто это сказал, что яйца подешевели? Ты или я? Ну да, это ты сказала по дороге домой, помнишь, тогда еще старик открыл зонтик — или он чихнул? Как бы там ни было, Крюгер скрылся, и ты пошла «домой задами» и вытирала ноги у дверей. Вот именно. А теперь ты расстелила на коленях носовой платок и роняешь в него зазубренные куски скорлупы — клочки карты — головоломка. Жаль, что я не могу ее составить! Если б только ты посидела смирно. Сдвинула колени — карта вновь распалась. Вниз по отрогам Анд несутся, рушатся беломраморные глыбы, сминают, сметают на своем пути полчища испанцев-по-

гонщиков, караван мулов — добычу Дрейка\*, золото и серебро. Но вернемся же...

К чему, куда? Она открыла дверь, поставила зонтик в стойку, это само собой разумеется; так же, как и запах жаркого, доносящийся из подвала; точка, точка, точка. Но что мне не под силу избыть, что я должна, пригнув голову, закрыв глаза, с бесстрашием бойца и бешенством быка разогнать, расточить — это, конечно же, тех людей за папоротниками, разъезжих торговцев. Я прятала их там все это время, надеясь, что они каким-то образом сгинут или еще того лучше возникнут, — иначе и быть не должно, если мое повествование обретет полноту и плавность, судьбу и трагедию, как и положено повествованиям, и в движении своем увлечет за собой парочку, а то и тройку разъезжих торговцев и частокол тещина языка. «За зелеными штыками тещина языка почти не видно было разъезжего торговца». За рододендронами его и вовсе не было бы видно, а заодно побаловали бы и меня; красное и белое — вот к чему меня тянет, вот к чему манит; но рододендроны в Истборне — в декабре — на столе Маршей, нет, нет, рука не поднимается; им больше подходят снетки и судки, помпончики и папоротники. Может быть, попозже, у моря, выберется еще минутка. Более того, меня разбирает желание, проникнув за сквозную зелень и грани хрусталя, рассмотреть, разглядеть мужчину напротив — всего одного, дай бог мне с ним справиться! Ведь это Джеймс Могридж, Марши его еще зовут Джимми? [Минни, послушай, не дергайся, пока я с ним разберусь.] Джеймс Могридж торгует, погодите-ка, пуговицами — но для *них* время еще не пришло, — крупные и мелкие, на длинных картонках, одни яркие, как павлиний хвост, другие тускло-золотые; одни из горного хрусталя, другие коралловые — но я же сказала, их время еще не пришло. Он разъезжий торговец, и по четвергам навещает Истборн и обедает у Маршей. Багровое лицо, жесткий взгляд маленьких глазок — и совсем заурядным его никак не на-

\* Фрэнсис Дрейк (1540—1596) — английский мореплаватель, неоднократно совершал пиратские набеги на Вест-Индию.

зовешь, вот уж нет — зверский аппетит (так оно надежнее; он и глаз не поднимет на Минни, пока не подберет хлебом весь соус), салфетку засунул углом за ворот — но это слишком примитивно, может, читатель такое и любит, но мне это не по вкусу. Давайте-ка перескочим к Могриджевым домочадцам, пустим их в дело. Так вот, по воскресеньям Джеймс самолично чинит башмаки всей семье. Он читает «Истину»\*. Чем же он увлекается? Розами — а жена, она бывшая сестра милосердия — очень интересно — ради всего святого, дайте я хотя бы одну женщину назову как мне нравится! Но не тут-то было, она из числа неродившихся детищ ума, незаконнорожденных, но от того не менее любимых, как и мои рододендроны. И сколько их погибает в каждом дописанном до конца романе, лучших, любимейших, несть им числа, — а Могридж живет себе и живет. Тут жизнь дала маху. Вот она, Минни, ест свое яйцо на скамейке напротив, а на другом конце железнодорожной ветки, — мы уже миновали Льюис? — там должен быть Джимми... и чего она корежится?

Там должен быть Могридж — промах жизни. Жизнь диктует свои законы; жизнь преграждает путь; жизнь за папоротником; жизнь-тиранка; что есть, то есть, но не самодурка! Нет, нет, поверьте, я пришла к нему по доброй воле; бог ведь какая сила повлекла меня к нему через папоротники и судки, замызганный стол и захватанные бутылки. Пришла, потому что меня потянуло приткнуться на упругой плоти, на крепком хребте — где угодно, лишь бы угнездиться на теле, в душе Могриджа-мужа. Как ладно он скроен; хребет — гибкий, как китовый ус, стройный, как тополь; ребра — раскидистые ветви; кожа — туго натянутый парус; красные складки щек; сердце — мощный насос; а тем временем сверху валится темными кусищами мясо, низвергается пиво, дабы вновь всосаться в кровь, — а вот наконец и глаза. Они видят нечто за частоколом тещина языка; черно-белое, унылое; и опять уставились в тарелку; за тещиным языком они видят пожилую женщину; «сестра Марша, до Хильды ей далеко»; те-

\* «Истина» — еженедельная газета, основана в 1877 г.



перь — на скатерть. «Марш знает, чтостряслось у Моррисов»... Обсудить всласть; а вот и сыр; и опять в тарелку; повернул ее — ручищи-то какие; теперь — на женщину напротив. «Сестра Марша; на брата ни капельки не похожа; жалкая, пожилая тетка... Кур надо кормить как следует быть... Господи ты боже, и с чего это она дергается? Я что-то не так сказал? Горе, просто горе с этими пожилыми тетками... Горе! Горе!..»

[Да, Минни; я знаю, ты дернулась, но погоди минутку — прежде Джеймс Могридж.]

Горе, горе, горе! Какие слова, какой звук! Как стук молотка по сухой доске, как биение сердца ретивого китобоя, когда волна бьет за волной и зелень вод мутна... «Горе, горе!» — это похоронный звон по страждущим душам — успокоить их, упокоить, обрядить в саван со словами: «Прощай! Будь счастлив!» И тут же: «А чего угодно вам?» — и хотя Могридж и сорвет еще для нее розу в своем садике — возврата нет и быть не может. Что же дальше? «Сударыня, вы опоздаете на поезд», — ведь они не мешкают.

Вот как заведено у людей; вот какие слова будят отклик; а вот и святой Павел\*, и автомобили. Но мы смахиваем крошки. Ой, Могридж, посидите еще! Вам уже пора? Это вы катите по Истборну в коляске? Это вы тот человек за бастионами зеленых картонок, он еще восседает так величаво, и взгляд у него — ну сфинкс сфинксом, и весь он какой-то замогильный, и вид его наводит на мысли о похоронных дел мастере и гробе, а лошадь и кучер впереди теряются в сумерках? Скажите, пожалуйста, — но захлопнулись дверцы. Никогда больше нам не встретиться. Могридж, прощай!

Да, иду-иду. Прямо навверх. Разве что минутку помешкаю. Какая муть поднялась в голове, в какие водовороты затягивают эти монстры — бушуют волны, раскачиваются водоросли — зеленые тут, черные там, — бьются о песок, но мало-помалу все возвращается на свои места, осадок сам собой просеивается, и покой, прозрачность откры-

\* Собор святого Павла, построенный в 1675—1710 гг. К. Реном.

ваются глазу, и уста творят молитву по душам погибших, тризну по тем, с кем нам никогда больше не встретиться.

Джеймс Могридж отошел, преставился. Что там у тебя, Минни,— «Мочи моей нет терпеть». Если она так сказала (Дай-ка гляну на нее. Она смахивает яичную скорлупу — скорлупа летит вниз по отвесным откосам). Сомнений нет, так она и сказала, когда, привалясь к стене, пощипывала бомбошки, окаймляющие бордовые портьеры в спальне. Но когда сам говоришь с собой, кто тогда говорит? — погребенная душа, дух, загоняемый все глубже и глубже в глубь самого главного подземелья; то самое я, которое приняло схиму, отринуло свет — трусливо, говоришь? — зато как оно прекрасно, когда, помахивая фонарем, неустанно носится ввысь-вниз по сумрачным ходам. «Нет больше сил моих,— говорит дух.— И этот тип за обедом — и Хильда — и дети туда же». Боже, как она рыдает! Это дух оплакивает свой удел, мятущийся дух,— он жаждет приткнуться на коврах, которые с каждым днем садятся все сильнее и сильнее,— скукоживающихся, уходящих из-под ног клочках вселенной, где в небытие уходит все: любовь, жизнь, вера, муж, дети, и кто знает, какие лепота и красота, поблазнившиеся некогда отроковице: «Не для меня... не для меня».

Что же остается — пышки, облезлый старый пес? Бисерные салфеточки, думается мне, и единственная прихоть — нижнее белье. Если бы Минни Марш переехала машина и ее увезли в больницу, даже сестры и доктора и те бы подивились... Тут тебе и перспектива, тут тебе и прозрение, тут тебе и даль — а в ней темная точка в самом конце улицы, зато пока, пока чай благоухает, и пышка с пылу-жару, и пес — «Бенни, иди на место, мальчик, смотри, что тебе мама принесла!» И, взяв перчатку с продырявленным пальцем, ты вновь вызываешь на бой вечно расширяющего свои пределы демона, демона прорех, вновь возводишь крепостные стены, водишь иголкой с серой шерстяной нитью туда-сюда, туда-сюда.

Туда-сюда, взад-вперед — ткешь паутину, которую и са-

мому господину богу — тсс, не думать о боге! Какая прочная штопка! Не штопка, а заглядение! Пусть ничто не тревожит ее, пусть мягко струится свет и облака высвечивают зелень первой наклюнувшейся почки. Пусть воробей, опустившись на ветку, сронит повисшую на ней дождевую каплю... Почему ты подняла глаза? Что причиной? Звук, мысль? Господи! Вновь возвращаемся вспять к твоему проступку, к лиловой ленте за зеркальным стеклом? Но вот идет Хильда! Унижения, поношения — ой-ой! Заделаем брешь!

Заштопав перчатку, Минни Марш прячет ее в ящик. Решительным жестом задвигает его. Я вижу ее отражение в зеркале. Губы стиснуты. Подбородок задран. Она принимается шнуровать ботинки. Дальше — подносит руку к шее. Что изображает ее брошь? Омелу или крылышки? И что вообще тут творится? Если я не попала пальцем в небо — пульс у тебя участился, приближается решительный момент, нити скрещиваются, впереди — Ниагара. Сейчас или никогда! Господи, спаси тебя и помилуй! Вперед! Мужайся! Не отступай, смелей! Она уже на пороге — не давай ей садиться на шею! Открывай дверь! Я с тобой заодно! Начни первая! Потягайся с ней силами, чтоб ей пусто было...

— Ой, извините. Да, это Истборн. Сейчас я помогу вам снять ее. Дайте-ка попробую за ручку. [И все же, Минни, хоть мы и не показываем вида, я тебя разгадала — теперь ты мне ясна.]

— Это весь ваш багаж?

— Уж не знаю, как вас благодарить.

(И все же почему ты озираешься? Хильда не придет встречать тебя, и Джон не придет, и Могридж мчит сейчас где-то по ту сторону Истборна.)

— Вы уж извините, лучше я подожду у своего саквояжа, так оно надежнее. Он пообещался меня встретить. А вон и он. Мой сынок.

И они удаляются вместе.

Ну и ну, чтоб мне пусто... Вот уж, Минни, чего не

ожидала, того не ожидала! Станный юнец... Погоди! Я ему скажу — Минни! — Мисс Марш! — Хотя кто его знает. Вот и плащ у нее как-то подозрительно топорщится. Да нет, быть того не может, это никуда не годится!.. Смотри, как он к ней наклонился, когда они подошли к контролеру. Она отыскала свой билет. В чем тут дело? И они уходят прочь, вдаль — рука об руку... Вот так так, мой мир рушится. На чем стою? Что знаю? Это вовсе не Минни. И не было никогда никакого Могриджа. И кто такая я сама? И жизнь пуста — хоть покати шаром!

И все же последний взгляд на них — они сходят с тротуара, она огибает большое здание следом за ним — преисполняет меня восторгом — меня захлестывает вновь. Загадочные незнакомцы! Мать и сын. Кто вы такие? Почему идете по улице? Где будете спать сегодня, где завтра? Ой, как крутит, бурлит — меня сносит наново! Я пускаюсь вслед за ними. Машины снуют туда-сюда. Брызжет, льется яркий свет. Зеркальные стекла витрин. Гвоздики; хризантемы. Плющ в сумрачных садах. Тележки молочников у дверей. Куда б я ни шла, я вижу вас, загадочные незнакомцы, вижу, как вы заворачиваете за угол, матери и сыновья; вы, вы, вы. Я прибавляю шаг, иду следом за вами. А это, думается мне, море. Пейзаж сер; тускл, как зола; шелестят и шепчут волны. Если б я преклоняла колена, если б соблюдала обряды, эти древние причуды, только вас, незнакомые мне люди,— вас бы я обожествляла; если б я распахнула объятия, только тебя заключила б я в них, тебя привлекла к груди — обожаемый мир!

## Струнный квартет

Ну вот мы и собрались, и стоит вам окинуть взглядом зал, вы сразу убедитесь, что метро и трамваи, а отчасти и собственные экипажи, даже, смею думать, запряженные рысаклами ландо из конца в конец прошивали для этого

Лондон. И все же меня вдруг одолевает сомненье...

Если и в самом деле правда, как тут говорят, что по Риджентс-стрит закрыт проезд, и подписан мир, и не так уж холодно для такого времени года, и за такую цену и то не снимешь квартиру, и в Grippe самое опасное — осложнение; если я спохватываюсь, что забыла написать насчет течи в леднике и посеяла перчатку в поезде; если кровные корни вынуждают меня истово трясти руку, протянутую, быть может, не без колебаний...

— Семь лет не видеться!

— С самой Венеции.

— И где же вы теперь обретаетесь?

— Что ж, вечером мне вполне удобно, хотя, может быть, это слишком нагло с моей стороны...

— Но вы нисколько не переменились!

— Что ни говори, война есть война...

Если разум пробивают такие легкие стрелы и — по законам человеческого общежития — едва выпущена одна, уже наготове другая; если из-за этого кидает в жар, и вдобавок полыхает электричество; если чуть не каждое слово тянет, как водится, поправки, расшаркиванья и огорки, расшевеливает желанья, амбиции и тоску, — если все так, и плывут на поверхность шляпки, боа, фраки и жемчуг на галстуках, — неужто же мыслимо?

Что именно? В том-то и закавыка, что с каждой минутой труднее сказать, отчего, вопреки всему, я тут сижу, не умея даже припомнить, что именно и когда в последний раз это испытано мной.

— Процессию видели?

— Король, кажется, замерз.

Нет, нет и нет. Да, но что именно?

— Она дом купила в Мамзбери.

— Можно ее поздравить.

Мне же, напротив, совершенно очевидно сдается, что ее, кто она ни на есть, можно послать с легким сердцем к чертям, со всеми квартирами, шляпками, чайками, и так, быть может, сдается сотне дам и господ, которые тут

сидят, парадные, защищенные оградой мехов, жемчугов и довольства. Ну а я-то сама тоже мирно сижу в золоченом кресле и раскапываю погребенное прошлое, как все, ибо судя по неким знакам все мы, если я не обманываюсь, что-то силится вспомнить, что-то исподволь ищем. И к чему суетиться? Беспокоиться о покрое костюма? О перчатках — застегнуть или нет? И вглядываться в это пожилое лицо на темном фоне картины: лишь минуту назад оно было оживленное, светское, а сейчас вот печальное, замкнутое, словно подернулось тенью. За стеной настраивают вторую скрипку — не правда ли? Выходят; четыре черные фигуры, с инструментами, усаживаются подле белых квадратов под световой ливень; покоят смычки на пюпитрах; дружный взмах, трепетанье, и, глядя на музыканта напротив, первая скрипка отсчитывает — и раз, и два, и три...

Вихрь, шквал, напор, взрыв! Грушевое дерево наверху горы. Бьют фонтаны; сыплются капли. А волны Роны мчат глубоко и полно, летят под мостами, разметывая пряди водорослей, полощут тени над рыбой, серебряной рябью бегущей ко дну, затянутой — это трудное место, — засасываемой водоворотом; плеск, брызги, ранят воду острые плавники; поток дымится, кипит, сбивает желтую гальку, крутит, крутит, вот отпустил, падает, падает, вниз, вниз, но нет, взвивается кверху нежной спиралькой; тонкой стружкой, как из-под самолета; выше, выше... Сто раз прекрасны добрые, веселыми шагами, с улыбкой идущие по земле; и шалые, бывалые рыбачки, присевшие под мостками, греховодницы, как дивно гогочут они, и галдят, и ступают враскачку, враскачку... аа-ах, гм, кха!

— Ранний Моцарт, конечно...

— Да, но мелодия, как все его мелодии вообще, приводит в отчаяние, я хочу сказать, вселяет надежду... Да, так что я хочу сказать? Вот ведь ужас с этой музыкой! Тянет, знаете, танцевать, смеяться, есть пирожные, есть мороженое, пить сухое, терпкое вино. Непрстойный анекдот, между нами, тоже был бы очень кстати. Чем старше делаешься, тем больше любишь непрстойности. Ха-ха. Вот мне смешно.

Ну отчего? Вы ведь ничего такого не сказали, да и тот старый господин... Но позвольте... Шшш!

Нас несет дальше грустная река. Луна заглянула под вислые ветви ивы, и я вижу лицо твое, я слышу твой голос, и птица поет, когда мы проходим под ветлами. Что ты шепчешь? Печаль, печаль. Радость, радость. Сплетенные, как блестящие под луной камыши. Сплетенные, неотторжимо сращенные, стянутые болью, обтянутые грустью — тррах!

Лодка тонет. Тона распрямились, взмывают, истончаются, становятся мутным призраком, и призрак огненным острием рвет сдвоенную свою страсть из моего сердца. Для меня поет он, распечатывает мою печаль, растопляет жалость, затопляя любовью бессолнечный мир, и не сбавляет, не унимает нежности, но ловко, тонко плетет свою вязь, плетет, пока расколотые надвое не срастутся; взлет, всхлип и — покой, и печаль, и радость.

О чем же тогда грустить? И еще спрашивать — что? Еще чего-то хотеть? Все ведь улажено; да; уложено на покой под покрывалом из розовых лепестков, осыпающихся лепестков. Осыпаются. Ах нет, перестали. Один лепесток завис на немыслимой высоте, как крошечный парашютник под невидимым аэростатом, и кружит, трепещет. Ему до нас не долететь.

— Нет, нет. Я и не заметила. Вот ведь ужас с этой музыкой — дурацкие мечты. Вторая скрипка отстала, вы говорите?

— Эта старая миссис Манроу пробирается к выходу. С каждым годом хуже видит, бедняжка, а тут такой скользкий пол.

Безглазая старость, седоголовый Сфинкс... Сейчас стоит на тротуаре, подзывает строго красный автобус.

— Как чудесно! Как дивно они играют! Как-как-как!

Язык без костей. Сама простота. Перья на соседствующей со мною шляпке пестры и приманчивы, как детская погремушка. В щели занавеса зелено вспыхивает платановый лист. До чего странно, до чего хорошо.

— Как-как-как! Шшш!

Двое влюбленных на траве.

— Если, сударыня, вы благоволите принять мою руку...

— Я бы и сердце вам вверила, сударь. Сверх того, мы оставили тела наши в пиршественной зале. Эти, на мураве,— только тени наших душ.

— Значит, это обнимаются наши души.

Лимоны и лавры кивают. Лебедь отталкивается от берега и сонно плывет на стремнину.

— И что же? Он провожал меня по коридору и на повороте наступил мне на кружевную оборку. Я вскрикнула: «Ах!» Я остановилась, нагнулась, а что мне еще оставалось? А он обнажил шпагу, сделал такой выпад, словно кого-то пронзает насквозь, крикнул: «Безумье, безумье!» — и я завизжала, а Принц, он что-то писал на пергаменте в эркере окна, вышел в скуфейке и туфлях, отороченных мехом, сорвал со стены рапиру — дар Короля Испанского, знаете,— и тут я сбежала, накинула этот плащ, чтобы было не видно порванную юбку, и сбежала... Но тише! Охотничий рог!

Господин так проворно отвечает даме, и она так взлетает по лестнице, и так остроумно обмениваются они любезностями, что речь их разрастается до страстного вздоха, теряет слова, но смысл остается достаточно ясен — любовь, смех, бег, ловитва, благословение небес — и все это окатывает веселой волною ликующей ласки — покуда серебряный разлив валторн, сперва очень дальний, близится, близится, и словно сенешалы возвещают рассвет или возвещают о победе влюбленных... Зеленый сад, лунный пруд и лимоны, влюбленные, рыба — все растворяется в дымчатом небе, покуда валторны, уже поддержанные трубами, подпираемые кларнетами, возводят там белые своды, прочно зиждущиеся на колоннах из мрамора... Гром победы. Лязг и звон. Прочное положение. Твердые основы. Марш миллионов. Смятенье и хаос повержены в прах. Но город, к которому мы идем, — не из камня, и он не из мрамора; висит незыблемо, стоит неколебимо; и ни улыбки, ни флага навстречу. Пусть же сгинет ваша надежда; моя радость



вянет в пустыне; открытое наступление. Голы колонны; безжалостны; они не отбрасывают тени; сверкают; темнеют. И я ретируюсь, я больше не хочу ничего, я только мечтаю уйти, найти свою улицу, узнавать дома, кивнуть зеленщице, сказать горничной, когда она откроет мне дверь: Какая звездная ночь.

— Доброй ночи, доброй ночи. Вам сюда?

— Увы. Мне туда.

## Королевский сад

Не менее ста стебельков тянулись с продолговатой цветочной клумбы, раскрываясь — почти над самой землей — веером листьев в форме сердца или загнутых язычков, и разворачивали на вершине чаши красных, синих, желтых лепестков, усыпанные густыми цветными пятнышками; а из красного, синего, желтого сумрака на дне чаши поднимался твердый прямой росток, шершавый от золотистой пыли и чуть закругленный на конце. Лепестки были достаточно крупные, чтобы чувствовать летний ветерок, и когда они колыхались, красные, синие и желтые огни набегали друг на друга, бросая на бурую землю невиданные отсветы. Краски ложились то на гладкую серую спинку гальки, то на раковину улитки в матовых бурых разводах; или вдруг, попав в дождевую каплю, взрывались таким половодьем красного, синего и желтого, что казалось, тонкие водяные стенки вот-вот не выдержат и разлетятся вдребезги. Но через мгновение капля вновь становилась серебристо-серой, а цвета играли уже на мясистом листке, обнажая глубоко запрятанные нити сосудов, и снова улетали и разливали свет на зеленых просторах под сводами листьев в форме сердца или загнутых язычков. Потом налетал более решительный порыв ветра, и, взметнувшись кверху, цветные огни летели в глаза мужчин и женщин, которые гуляют в июле по Королевскому ботаническому саду.

Фигуры этих мужчин и женщин двигались мимо клумбы в каком-то странном хаотическом круговороте, почти как бело-синие бабочки, которые причудливыми зигзагами перелетали с лужайки на лужайку. Мужчина шел чуть впереди, небрежной, расслабленной походкой; женщина ступала более целеустремленно и только иногда оборачивалась, чтобы посмотреть, не слишком ли отстали дети. Мужчина держался впереди намеренно, хотя, может быть, и бессознательно: ему хотелось спокойно подумать.

«Пятнадцать лет назад я привел сюда Лили,— думал он.— Мы сидели где-то там, у озера, и я упрасивал ее стать моей женой, долго-долго, и было очень жарко. Над нами без конца кружила стрекоза, как ясно я помню эту стрекозу, и еще туфлю с квадратной серебряной пряжкой. Все время, пока я говорил, я видел эту туфлю, и когда она нетерпеливо вздрагивала, я знал, не поднимая глаз, что ответит мне Лили; казалось, она вся в этой туфле. А моя любовь, моя страсть были в стрекозе; почему-то я думал, что если она сядет вот там, на том листе, широком, с красным цветком посередине, если только стрекоза сядет на том листе, Лили сейчас же скажет: «Да». Но стрекоза все кружила и кружила; она так нигде и не села — ну конечно, и слава богу, а то разве гулял бы я здесь сейчас с Элинор и детьми? Скажи мне, Элинор. Ты когда-нибудь думаешь о прошлом?»

— А почему ты спрашиваешь, Саймон?

— Потому что я сейчас думал о прошлом. Я думал о Лили, о женщине, на которой мог бы жениться... Ну что ж ты молчишь? Тебе неприятно, что я думаю о прошлом?

— Почему мне должно быть неприятно, Саймон? Разве не каждый думает о прошлом в саду, где под деревьями лежат мужчины и женщины? Разве они не наше прошлое, не все, что от него осталось, эти мужчины и женщины, эти призраки под деревьями... наше счастье, наша жизнь?

— Для меня — туфля с серебряной пряжкой и стрекоза...

— А для меня — поцелуй. Представь себе, шесть маленьких девочек стоят перед мольбертами, двадцать лет назад, на берегу озера и рисуют водяные лилии, я тогда впервые

увидела красные водяные лилии. И вдруг поцелуй вот здесь в шею, сзади. У меня потом весь день тряслась рука, я не могла рисовать. Я доставала часы и отмечала время, когда мне можно будет думать о поцелуе, только пять минут — такой он был драгоценный — поцелуй седой старушки с бородавкой на носу, главный из всех моих поцелуев, за всю жизнь. Скорее, Кэролайн, скорее, Хьюберт.

Они миновали клумбу и пошли дальше, теперь все четверо рядом, и скоро стали маленькими и полупрозрачными среди деревьев, среди больших и дрожащих солнечных пятен, которые, чередуясь с тенью, не спеша проплывали по их спинам.

В продолговатой цветочной клумбе улитка, чью раковину минуты на две расцветило в красные, синие и желтые тона, теперь чуть-чуть зашевелилась в своей раковине и с трудом поползла по комкам рыхлой земли, которые то и дело отрывались и катились вниз. Перед ней, по-видимому, была твердая цель, что отличало ее от странного, большого и угловатого зеленого насекомого, которое попробовало двинуться вперед, потом застыло на мгновение с дрожащими усиками, словно размышляя, и вдруг так же быстро и непонятно метнулось обратно. Бурные утесы над глубокими впадинами зеленых озер, плоские, как клинки, деревья, что колышутся от корня до вершины, круглые серые валуны, большие мятые круги тонкой, хрустящей ткани — все это лежало на пути улитки от одного стебля до другого, к заветной цели. Прежде чем она решила, обойти ли изогнувшийся шатром сухой лист или двинуться напролом, возле клумбы снова раздалися шаги людей.

На этот раз оба были мужчины. Лицо того, что помоложе, выражало, пожалуй, даже чрезмерное спокойствие; подняв голову, он очень твердо смотрел прямо перед собой, когда его спутник говорил, но едва лишь тот замолкал — снова опускал глаза и иногда отвечал после долгого молчания, а порой и вовсе не отвечал. У старшего была странно резкая и неровная походка: он выбрасывал вперед руку и круто вздергивал головой, совсем как нетерпеливая лошадь, впря-

женная в экипаж, которой надоело ждать у подъезда; только у него эти движения были нерешительны и бессмысленны. Говорил он почти непрерывно; улыбался сам себе и опять начинал говорить, как будто улыбка была ответом. Он говорил о духах — духах умерших, которые и теперь, по его словам, рассказывали ему много загадочного о жизни в раю.

— У древних, Уильям, раем считалась Фессалия, а теперь, после войны, духовное вещество носится по горам как громовые раскаты.— Он остановился, к чему-то прислушался, улыбнулся, дернул головой и продолжал: — Берешь маленькую электрическую батарейку и немного резины для изоляции обмотки... намотки?.. обмотки?..— ну ладно, это мелочи, что толку говорить о мелочах, которых никто не поймет,— короче, ставишь весь механизм как-нибудь поудобнее у изголовья кровати, скажем, на изящной лакированной тумбочке. Рабочие устанавливают все как надо, по моим указаниям, и тогда вдова подносит ухо и знаком вызывает дух, как условлено. Женщины! Вдовы! Женщины в черном...

Тут он, по-видимому, заметил вдали женское платье, которое в тени казалось лилово-черным. Он снял шляпу, приложил руку к сердцу и рванулся за ней, что-то бормоча и отчаянно размахивая руками. Но Уильям поймал его за рукав и кончиком трости показал на цветок, чтобы отвлечь его внимание. Посмотрев на цветок в каком-то смятении, старик наклонился и приложил к нему ухо, а потом, словно в ответ на то, что услышал, стал рассказывать о лесах Уругвая, где он путешествовал сотни лет назад в обществе самой прелестной женщины Европы. И долго еще раздавалось его бормотанье о лесах Уругвая, усеянных гладкими, как воск, лепестками тропических роз, о соловьях и песчаных отмелях, о русалках и утопленницах, а Уильям вел его дальше и дальше, и все сильнее светилась терпеливая грусть в его глазах.

Почти тотчас вслед за ними — так близко, что жесты старика уже могли показаться странными,— шли две пожилые женщины, по виду из небогатых, одна полная и медлительная, другая подвижная и румяная. Признаки чудачества,

выдающие помутившийся рассудок, и особенно у людей с состоянием, были для них, как для большинства им подобных, чем-то невероятно интересным и увлекательным; но они шли все же слишком далеко, чтобы определить, просто ли старик чудаковат или в самом деле помешан. Внимательно, в молчании изучив его спину, а затем странно и хитро переглянувшись, они снова стали складывать из непонятных слов свой очень сложный разговор:

— Нелл, Берт, Лот, Сесс, Фил, папа, он говорит, я говорю, а она, а я, а я...

— А мой Берт, сестра, Билл, дед, старик, сахар, Сахар, мука, селедка, зелень, Сахар, сахар, сахар.

Полная женщина смотрела сквозь пестрый поток слов на то, как из земли холодно, прямо и надменно встают цветы, и в лице ее было недоумение. Эти цветы виделись ей так же, как видится человеку, едва очнувшись от тяжелого сна, медный подсвечник, который по-новому и непривычно отражает свет; человек закрывает и открывает глаза, и снова видит медный подсвечник, и тогда уж совсем просыпается и глядит на подсвечник не мигая, что есть сил. Так и грузная женщина остановилась у продолговатой клумбы и перестала даже делать вид, что слушает свою спутницу. Слова летели мимо, а она стояла, медленно раскачиваясь взад и вперед, и смотрела на цветы. Потом она сказала, что хорошо бы найти удобное место и выпить чаю.

Улитка обдумала уже все пути, какими можно достигнуть цели, не обходя сухой лист и не влезая на него. Не говоря уж о том, как трудно влезть на лист, она сильно сомневалась, что тонкая ткань, которая так угрожающе вздрагивала и хрустела при малейшем прикосновении рогов, выдержит ее вес; это-то соображение и заставило ее наконец решиться проползти под листом, ибо в одном месте лист изогнулся настолько, что образовался удобный вход. Она как раз сунула голову внутрь и критически изучала высокую коричневую крышу, понемногу привыкая к прохладным коричневым

сумеркам, когда снаружи по траве прошли еще двое. На этот раз оба были молоды, молодой человек и девушка. Они были в расцвете счастливой юности или даже в том возрасте, который предшествует юному цветению, когда нежный розовый бутон еще не вырвался из упругой оболочки, когда крылья бабочки хотя и выросли, но неподвижно сверкают на солнце.

— Хорошо, что сегодня не пятница,— заметил он.

— Почему? Ты что, суеверный?

— В пятницу за вход берут полшиллинга.

— Ну и что? Разве это не стоит полшиллинга?

— Что «это» — что значит «это»?

— Ну... все... в общем, ты понимаешь.

За каждой из этих фраз следовало долгое молчание; проносились они отрешенно и без выражения. Вдвоем они стояли на краю клумбы и вместе давили на ее зонтик, кончик которого глубоко ушел в мягкую землю. То, что они вот так стояли и его рука лежала на ее руке, странным образом выражало их чувства, и эти короткие незначительные слова тоже что-то выражали; у этих слов короткие крылышки — им не унести далеко тяжкий груз значений, и потому они неловко садятся на привычные предметы вокруг, но какими важными кажутся они при первом, неопытном прикосновении! И кто знает (думали они, вместе сжимая зонтик), какие бездны скрываются, быть может, за ними, какие сияющие ледники лежат на солнце там, на другой стороне? Кто знает? Кто это видел? Даже когда она спросила, как в Королевском саду подают чай, он почувствовал, что за ее словами высятся туманные очертания, огромные и таинственные, и очень медленно туман рассеялся и открылись — о боги, что это за картины? — белые-белые столики и официантки, которые смотрят сначала на нее, а потом на него; и счет, по которому он заплатит настоящей монетой в два шиллинга, и все это правда, все по-настоящему, уверял он себя, нащупывая монету в кармане, по-настоящему для всех, кроме них двоих; даже ему это стало казаться настоящим; а потом... но нет, невозможно больше стоять и думать, и он резко выдернул зон-

тик из земли, ему очень не терпелось отыскать то место, где пьют чай — со всеми, как все.

— Пошли, Трисси, пора пить чай.

— Но где здесь пьют чай? — спросила она дрожащим от волнения голосом и, скользнув вокруг невидящим взглядом, пошла, увлекаемая им вдаль по зеленой аллее, волоча кончик зонтика по траве, поворачивая голову то вправо, то влево, забыв про чай, порываясь пойти то туда, то сюда, вспоминая про орхидеи, и журавлей на цветочной поляне, и китайскую пагоду, и пурпурную птичку с хохолком; но он вел ее вперед.

Так, повинаясь единому бесцельному и беспорядочному движению, пара за парой проходила мимо клумбы и понемногу пропадала в клубах зеленовато-голубого марева; вначале тела их были вещественны и ярко окрашены, но потом становились призрачны и бесцветны и вовсе растворялись в зелено-голубой дымке. Было очень жарко! Так жарко, что даже дрозд прыгал в тени цветов, как заводная птичка, подолгу замирая между двумя прыжками; белые бабочки не порхали над клумбами, а пританцовывали на месте, одна над другой, так что от крупных цветов тянулись вверх пляшущие белые струи, как разбитые мраморные колонны; стеклянная крыша оранжереи сверкала так, словно на залитой солнцем площади раскрылись сотни ослепительно зеленых зонтиков; а гудение самолета над головой, казалось, исходило из самой души яростного летнего неба. Желтые и черные, розовые и белоснежные, фигурки мужчин, женщин и детей на мгновение вспыхивали на горизонте, а потом, когда в глаза ударял желтый свет, разлитый по траве, вздрагивали и прятались в тени деревьев, испаряясь, как водяные капли, в желто-зеленом воздухе, добавляя к нему чуть-чуть красного и синего. Казалось, все, что есть массивного и тяжелого, припало к земле и неподвижно лежит на жаре, но голоса неровно долетают от этих застывших тел, как огненные язычки мерцают над толстыми восковыми свечами. Голоса. Да, голоса. Бессловесные голоса, что вдруг разрывают тишину с таким сладким блаженством, с такой

жгучей страстью или, если это голоса детей, с таким звонким удивлением; разрывают тишину? Но ее нет, этой тишины; все это время крутятся колеса, переключаются скорости в красных автобусах; как в огромной китайской игрушке, крутятся, крутятся один в другом шары из ковanej стали, гудит и бормочет большой город; а над этим гулом громко кричат голоса и лепестки несчетных цветов бросают в воздух цветные огни.

## Пятно на стене

Впервые я заметила пятно на стене, кажется, в середине января. Чтобы вспомнить тот день, надо представить, как все случилось. Итак, в памяти возникает камин; на раскрытую книгу падает ровный желтый отсвет огня; три хризантемы в овальной прозрачной вазе на каминной полке. Да, действительно, была зима, мы только что пили чай, помню, я курила сигарету и, взглянув на стену, увидела это пятно. Я смотрела, как поднимается дымок от сигареты, взгляд мой на мгновение задержался на раскаленных углях, и передо мной возникло знакомое видение: алый стяг полощется над башней замка, кавалькада рыцарей в красных одеждах поднимается по каменистому склону черной горы. Но тут, слава богу, я заметила пятно на стене, и исчезло видение, старый мираж, независимая от моей воли фантазия, явившаяся мне еще в детстве. Пятно было небольшое, круглое, оно чернело на белой стене почти над самой каминной полкой.

С какой готовностью мысль наша обращается к новому предмету, подхватывает его, как хлопотливые муравьи соломинку, но столь же легко устремляется к другому... Наверное, это след от гвоздя, но висела на гвозде не картина, а скорее всего миниатюра — портрет дамы в белом завитом парике, щеки густо напудрены, а губы словно алые гвоздики. Впрочем, все было не так, прежние жильцы повесили бы здесь другую картину — к старой мебели подошло бы полот-



но старого мастера. Они были особого склада — очень интересные люди, порою я неожиданно вспоминаю о них, быть может, потому, что уже никогда их не встретить, не узнать, что с ними стало. Им захотелось изменить стиль мебели, вот они и сменили дом, так он сказал, и еще он говорил, что искусство должно покоиться на идеях, но тут воспоминание уплывает от меня, так уносятся в прошлое старая дама, разливающая чай, юноша, отбивающий мяч на теннисном корте какого-то загородного парка, так мчишься в поезде все мимо, мимо.

Однако что до пятна, то просто не знаю, откуда оно взялось; вряд ли это след от гвоздя; уж слишком пятно большое и круглое. Конечно, можно встать и рассмотреть его поближе, но я почти уверена, что яснее от этого не будет; мы видим некое следствие, но нам не дано постичь его причину. О боже мой, тайна жизни! Беспомощность мысли! Невежество людское! В доказательство того, сколь ничтожна наша власть над всем бранным, сколь ненадежна вся эта наша цивилизация, вспомним лишь некоторые вещи, бесследно исчезнувшие за одну жизнь, и начнем с самой загадочной потери — не кошка же слизнула и не крыса утащила, — с трех голубых ящичков, в которых хранились инструменты для переплета книг. Потом куда-то делись птичьи клетки, железные обручи, стальные коньки, ведро для угля времен королевы Анны, стол для бильярда, шарманка — все исчезло, и драгоценности тоже. Опалы и изумруды вперемешку с турнепсом. Поистине жизнь — это непрерывная череда утрат! Чудо еще, что на мне какая-то одежда, что я сижу в комнате, а вокруг прочно стоит мебель. Если искать для жизни подходящее сравнение, то лучше всего уподобить ее полету со скоростью пятьдесят миль в час по туннелю метро, в конце которого приземляешься без единой шпильки в волосах! Пулей летишь к ногам всевышнего в чем мать родила! Несешься по лугам асфodelей, как катятся на почте по наклонному желобу запакованные в оберточную бумагу посылки! Развеваются за спиной волосы, словно хвост у лошади на скачках. Да, пожалуй, так можно выразить стре-

мительность жизни, ее вечные утраты и обновление; все зыбко, случайно...

Но после смерти. Плавно опускаются толстые зеленые стебли, поворачивается чашечка цветка и ослепляет пурпурным и красным сиянием. В конце концов, разве там мы не должны родиться, как рождаемся здесь — беспомощные, немые, незрячие барахтаемся в траве у ног Великанов? Ибо сказано: деревья что люди, и нет там ничего невозможного, сколько бы ни минуло — полвека, больше ли. Будут только горизонты света и тьмы, рассеченные толстыми стеблями, а сверху похожие на розы размывы непонятного цвета — не то бледно-розовые, не то голубые, но время течет, и краски станут ярче, станут — бог их знает какими...

Однако пятно на стене вовсе не похоже на дыру. Это скорее круглый предмет, наверное, листок розы, прилипший на стену еще летом, ведь я не слишком усердная хозяйка, достаточно посмотреть на пыль, осевшую на каминной полке, да, ту самую пыль, под тремя пластами которой, как утверждают, погребена Троя, и только глиняные черепки оказались неподвластны тлену, чему вполне можно поверить.

Дерево за окном беззвучно стучит веткой по стеклу... Мне хочется размышлять в тиши, безмятежно и вольно, ничем не отвлекаясь, непринужденно скользить мыслью от одного предмета к другому, не зная преград и ненависти. Опускаться все глубже и глубже, удаляясь от видимой поверхности вещей с ее неподатливыми, разобщенными фактами. Ухватись за первое, что придет в голову... Шекспир... Допустим; впрочем, годится все что угодно. В глубоком кресле сидит человек и смотрит на огонь... С горней вышины льется бесконечный поток образов и объемлет его. Он сидит, склонив голову на руку, прохожие заглядывают в распахнутую дверь — само собой разумеется, дело происходит летним вечером, — но как же нелеп этот исторический вымысел! Он наводит на меня скуку. Хочется размышлять о чем-то приятном, и в этих размышлениях должна отражаться моя подсознательная вера в себя, ибо такие мысли наиболее приятны, и они нередко посещают даже самых

скромных, неприметных людей, которые искренне убеждены, что они вовсе не склонны восхищаться собой. В подобных мыслях нет явного самолюбования; в этом-то вся прелесть; думаешь что-нибудь такое:

И тут в комнату вошла я. Они толковали о ботанике. Я сказала, что видела цветок, выросший на мусорной куче в Кингзуэ, на том самом месте, где стоял старый дом. Семечко, сказала я, могло лежать там со времен Карла I. «Какие цветы росли во времена Карла I?» — спросила я (но не припомню, что мне ответили). На высоком стебле, с пурпурными султанчиками. И дальше в том же роде. Все это время я мысленно создаю свой образ, любовно, украдкой, боясь, что откровенное восхищение выдаст меня, я тороплюсь, тяну руку за книгой, словно ищу в ней поддержку. Удивительно, как свойственно человеку оберегать свой образ от поклонения, которое сделало бы его смешным или чересчур далеким от оригинала, а потому неправдоподобным. А может быть, ничего удивительного? Это очень важно понять. Предположим, разбивается зеркало и пропадает отражение, некий романтический образ в зелени лесных зарослей, остается только оболочка, которую видят все, — каким же душным, пустым, тусклым, скучным станет мир! В таком мире невозможно будет жить. Глядя друг на друга в метро и в омнибусах, мы смотримся в зеркало; вот откуда эта неуловимость и стеклянный отблеск в наших глазах. Со временем романисты будут все больше постигать важность этих отражений; отражение не единственное, их почти бесчисленное множество; вот какие глубины будут исследовать романисты, вот за какими призраками устремятся в погоню и будут все меньше описывать действительность в своих повествованиях; или — зачем рассказывать о том, что и так все знают, не лучше ли последовать примеру греков или даже Шекспира, — впрочем, к чему все эти абстракции? Достаточно слову бросить боевой клич. По его зову явятся газетные передовицы, министры — члены кабинета — короче говоря, все то, что в детстве считаешь самым главным, мерилом всего сущего, самой истиной, от которой

нельзя отступить ни на шаг, иначе страшное проклятие падет на тебя. Но абстракции почему-то возвращают нас к воскресеньям в Лондоне, воскресным прогулкам, воскресным завтракам и еще к благопристойным поминовениям умерших, к модной одежде и традициям — вроде обыкновения сидеть всем вместе в одной комнате до положенного часа, хотя это никому не доставляет никакого удовольствия. На все был заведен свой порядок. Когда-то, согласно порядку, скатерти делались из гобелена и на них наносились небольшие желтые квадраты, похожие на те, что видны на фотографиях ковров в королевских замках. Всякие другие скатерти просто не считались настоящими. С каким изумлением и в то же время восторгом вдруг обнаруживаешь, что все эти важные вещи, воскресные завтраки, воскресные прогулки, загородные дома и скатерти, в сущности, были не совсем настоящими, а скорее иллюзорными и проклятие, поразившее неверного, на самом деле дарило чувство преступной свободы. Интересно, что теперь пришло на смену тем мерилам истинных ценностей? Наверное, мужчины, раз уж ты женщина; мужской взгляд на мир, это он правит нашей жизнью, определяет критерий всего, утверждает Уитакерские иерархические таблицы\*; правда, за время войны он утратил свою власть над многими, и скоро эти мужские ценности окажутся на свалке вместе с призраками, буфетом красного дерева, гравюрами Ландсира\*\*, богами и дьяволами, преисподней и прочим ненужным хламом, зато у нас останется пьянящее чувство преступной свободы — если свобода вообще существует...

При определенном освещении это пятно на стене кажется объемным. И не такое оно круглое. Мне даже чудится, будто от него падает тень, значит, если я проведу пальцем по стене в этом месте, то почувствую, как палец приподнимется и опустится на маленьком бугорке, холмике, вроде холмов

\* Уитакер — ежегодный справочник общей информации, содержит также сведения о зарубежных странах.

\*\* Эдвин Генри Ландсир (1802—1873) — английский художник-анималист. Многие его рисунки находились в частных коллекциях.

в Южном Даунсе, которые считаются не то могильниками, не то стоянками древних людей. Мне больше по душе думать, что это могильники, ведь английскому сердцу мило все, что настраивает на меланхолический лад, и, пройдя по дорожке, мы спокойно думаем о костях, лежащих под дерном... О них, должно быть, написана книга. Какой-нибудь археолог раскопал эти кости и дал им название... Интересно, что за люди эти археологи? Большинство из них — полковники в отставке, они идут с партиями старых рабочих на вершину холма, роются в комьях земли и камнях, вступают в переписку с местными священниками и, вскрывая почву за завтраком, преисполняются сознанием своей значимости, а чтобы проводить сравнительное изучение наконечников для стрел, они ездят по всей стране, из одного городка в другой — что приятно для них и весьма кстати для их почтенных жен, которым надо варить сливовый джем и наводить порядок в кабинете, и они весьма заинтересованы в том, чтобы животрепещущий вопрос о происхождении холмов обсуждался как можно дольше, между тем сам полковник в благостном философическом расположении духа собирает доказательства в пользу обеих гипотез. В конце концов он склоняется к мнению, что эти холмы скорее всего стоянка древних людей; когда же его противники оспаривают этот вывод, он сочиняет памфлет и собирается огласить его на традиционном заседании местного общества, но тут его сваливает удар, и последние мысли его угасающего сознания не о жене, не о детях, а о стоянке древнего человека и о найденном там наконечнике для стрел, который ныне хранится в местном музее вместе со ступней китайки-убийцы, горсткой елизаветинских гвоздей, целой коллекцией глиняных трубок времен Тюдоров, древнеримским черепком и бокалом, из коего пил Нельсон, хотя так и неизвестно, что же сей наконечник доказывает фактом своего существования.

Нет, нет, ничего не докажешь, ничего не узнаешь. И если бы мне пришлось все-таки встать и удостовериться, что пятно на стене — что же это могло быть? — на самом деле шляпка огромного старого гвоздя, вбитого в стену двести лет

назад и вот теперь благодаря усердию многих поколений прислуги выглянувшего из-под слоя краски на белый свет в нашей освещенной камином комнате, то что я приобрету? Знание? Повод для дальнейших размышлений? Я могу несколько не хуже размышлять, оставшись сидеть на стуле. А что есть знание? И кто такие наши ученые мужи, как не прямые потомки ведуний и отшельников, которые скрывались в пещерах или лесных чащах, варили зелье из трав, вопрошали землероек и постигали язык звезд. И чем меньше мы их чтим, тем больше освобождаемся от власти предрассудков и поклоняемся красоте и здравому уму... Да, попробую вообразить себе блаженный мир. Мир, где покой и простор, широкие поля в красных и голубых цветах. Мир, где нет профессоров, ученых, экономок, похожих на полицейских, мир, который мысль разъемлет на части, как рассекает плавником воду рыба, подгрызая стебли речных лилий, замирая над гнездами икринок... Какой покой здесь, внизу, ты в самых недрах мироздания, проникаешь взором сквозь сероватую воду, пронизанную солнечными бликами, хранящую в себе бесчисленные отражения, — вот если бы только не Уитакерский альманах — если бы только не иерархические таблицы!

Надо встать и разобраться, откуда же это пятно, что это — гвоздь, лист розы или просто трещина в дереве?

И снова Природа прибегает к испытанной уловке — к правилу самосохранения. Подобные рассуждения, предупреждает она, грозят обернуться пустой тратой сил, даже конфликтом с действительностью, ибо кто смеет слово сказать против Уитакерских иерархических таблиц? За архиепископом Кентерберийским следует лорд-канцлер; за лорд-канцлером следует архиепископ Йоркский. За каждым кто-то следует, такова философия по Уитакеру; и как чудесно знать, кто за кем следует. Уитакер знает, и пусть, советует Природа, это утешает тебя, а не возмущает; если же для тебя в этом нет ничего утешительного и ты непременно должна нарушить свой блаженный покой, то думай о пятне на стене.

Я понимаю уловку Природы — она советует действовать,

чтобы избавиться от мыслей, чреватых волнением или болью. Отсюда, наверное, то легкое презрение, с каким мы относимся к людям действия, к тем, кто, по нашим представлениям, никогда не размышляет. Все же нет ничего плохого в том, чтобы покончить с неприятными мыслями, рассматривая пятно на стене.

В самом деле, теперь, когда взгляд мой прикован к пятну, мне кажется, я ухватилась за спасительную соломинку; я испытываю приятное чувство реальности, и оба архиепископа вместе с лорд-канцлером обращаются в бледные тени. Наконец твердая почва под ногами. Так, очнувшись от ночного кошмара, торопишься зажечь свет и лежишь без сна, дрожишь, благословляя комод, благословляя стабильность, благословляя сущее, благословляя неодушевленный мир, свидетельство того, что есть некое иное существование, не похожее на наше. Вот в чем каждый хочет быть уверен... Лес — как прекрасно о нем думать. Он начинается с дерева, деревья растут, и мы не знаем, почему они растут. За годом год они растут, не замечая нас, на полянах, в лесах, по берегам рек — об этом хочется думать. Под деревьями коровы обмахиваются хвостами в жаркий полдень; от листвы вода в реке кажется такой зеленой, что удивляешься, почему не стала зеленой болотная куропатка, испулавшаяся в реке. Мне хочется думать о рыбке, трепещущей в речной стремнине как флажок, который полощется на ветру; о водяных жуках, которые не спеша возводят на берегу свои круглые жилища из речного ила. Мне хочется думать просто о самом дереве: сначала на ладони ощущение сухой древесины; потом завывание бури; томное, сладостное жужжание шмеля. Мне хочется думать о дереве зимними вечерами, в пустом поле, вся листва пожухла, и все безжизненно под луной, лишь высится на земле обнаженная мачта, она дрожит, дрожит всю ночь напролет. Каким громким и странным кажется дереву птичий щебет в июне и каким холодным прикосновение насекомых, когда они упрямо ползут вверх по складкам коры или греются на солнце в густой зеленой листве и таращат красные, с алмазной гранью, глаза...

Одна за другой, под неодолимым холодным напором земли, рвутся нити, налетает последний ураган, дерево падает, и высокие ветви снова уходят глубоко в землю. Но и теперь жизнь не кончена; для дерева начинается множество иных, долгих, бессонных жизней по всему миру — в спальнях, на кораблях, на тротуарах, в гостиных, где после чая ведут беседы и курят мужчины и женщины. В дереве бродят светлые, счастливые мысли. Мне хочется постичь каждую из них, но что-то мешает... Где я была? Что со мной было? Дерево? Река? Холмы? Уитакерский альманах? Луга асфоделей? Ничего не помню. Все мчится, рассыпается, ускользает, не остается и следа... Бесконечное превращение материи. Кто-то склоняется надо мной и говорит:

— Схожу за газетой.

— Что?

— Хотя зачем читать газеты... Все одно и то же. Будь проклята эта война! К черту эту войну!.. И все-таки странно, откуда у нас на стене взялась улитка.

А-а, пятно на стене! Так это была улитка...

## Новое платье

У Мейбл сразу же зародилось серьезное подозрение, что что-то не так, когда миссис Барнет помогла ей разоблачиться, подала зеркало, стала перебирать щетки, привлекая ее внимание, между прочим неспроста, к разным штучкам на туалетном столике для совершенствования прически, наряда, лица, и тем самым подозрение подтвердила — что-то не так, не совсем так, и оно укреплялось, пока она шла по лестнице, и обратилось в уверенность, когда она поздоровалась с Клариссой Дэллоуэй, прошла прямо в дальний угол гостиной, где висело зеркало, и глянула. Так и есть! Все не так! И тотчас мука, которую она вечно старалась скрыть, глубокая тоска, засевшее с детства чувство, что она хуже всех, — нашло на нее неумолимо, безжалостно, с остротой, которой



она не могла одолеть, как, бывало, дома, проснувшись ночью, она одолевала ее с помощью Вальтера Скотта и Борроу\*, ибо о, все эти мужчины, о, все эти женщины, все думали: «Что это напялила Мейбл! Ну и вид! Кошмарное новое платье!» — и щурились, идя ей навстречу, и жмурились у нее за спиной. И ведь сама во всем виновата; несуразная дура; малодушная; размазня. И сразу та самая комната, где она загодя, долгими часами совещаясь с портнихой, готовилась появиться, стала мерзкой, противной; а уж собственная убогая гостиная, то, как сама она, выходя, лопааясь от тщеславия, тронула письма на столике в прихожей, сказала: «Как скучно!» — ох, до чего же все вместе было глупо, мелко, провинциально. Все рухнуло, лопнуло, разлетелось в тот самый миг, когда она вошла в гостиную миссис Дэллоуэй.

В тот вечер, когда, сидя за чаем, получила приглашение на прием от миссис Дэллоуэй, она сразу решила, что, разумеется, не станет гнаться за модой. Даже и пыжиться нечего. Мода — это линия, силуэт, это тридцать гиней, не меньше, — и почему бы не выглядеть оригинально? Почему нельзя иметь свой стиль? И, поднявшись из-за стола, она взяла старинный модный журнал, еще мамин, парижский модный журнал времен Империи, подумала, насколько миловидней, благородней, женственной выглядели они тогда, и вздумала — вот идиотка! — быть как они, возомнила себя скромной, несовременной, прелестной, а если честно признаться — дала волю самовлюбленности, за которую ее надо бы выпороть, и в результате — вот, вырядилась.

Она боялась себя разглядывать в зеркале. Боялась смотреть на этот кошмар — бледно-желтое, нелепо старомодное шелковое платье, длиннющая юбка, рукава с буфами, этот лиф мыском и прочие прелести, так мило выглядевшие в журнале, но не на ней, не здесь, среди по-людски одетых женщин. Чучело портняжье, в нее только булавки подмастерьям втыкать.

— Ах, милая, это очаровательно! — сказала Роза Шоу,

\* Джордж Борроу (1803—1881) — английский писатель, автор многих занимательных романов.

озирая ее с ног до головы и, конечно, чуть кривя саркастически губки,— сама-то Роза, естественно, была одета по последнему крику моды, точь-в-точь как все остальные.

Все мы, как мухи, бьемся, выкарабкиваясь из блюда, подумала Мейбл и повторяла эту фразу — так осеняют себя крестом, так ворожат,— чтоб унять боль, сделать сносным смятение. Цитаты из Шекспира, строки из книг, читанных сто лет назад, всегда вдруг всплывали в минуты смятения, и она без конца повторяла их. «Как мухи, выкарабкиваясь из блюда», — повторяла она. Только повторять, повторять, и, если удастся воочию увидеть мух, она станет застылой, оцепенелой, немой и холодной. Вот мухи медленно вылезают из блюдечка с молоком, у них слеплены крылышки; и она старалась, старалась (стоя у зеркала, слушая Розу Шоу) представить себе Розу Шоу, представить всех в виде мух, которые бьются, из чего-то вылезая, нет, во что-то влезая, жалкие, ничтожные мухи. Но ничего у нее не получалось. Сама она была муха мухой, а другие — стрекозы, бабочки, яркие насекомые, и они танцевали, кружили, порхали, и она, одна-одинешенька, неуклюже выкарабкивалась из блюда. (Зависть и недоброжелательство, отвратительнейшие из пороков,— вот ее главные недостатки.)

— Я как обтрепанная, жалкая, потерянная старая муха,— сказала она, зацепляя Роберта Хейдна этой бедной увечной фразой, только чтоб утвердиться, показать свою независимость, раскованность, непринужденность. И Роберт Хейдн, разумеется, отвечал ей что-то учтивое, вполне неискреннее, и она тотчас раскусила его и, едва он отошел, сказала себе (тоже цитатой откуда-то): «Он лжет, лжет, лжет!»\* Потому что ведь прием — он все делает гораздо более настоящим или гораздо менее настоящим, решила она; вдруг она увидела самую душу Роберта Хейдна; она увидела все насквозь. Увидела правду. Вот она правда — эта гостиная и эта Мейбл, а другая Мейбл — выдумка. Тесная комнатенка мисс Милан была в самом деле ужасно жаркая, затхлая, обшарпанная. Пропахла платьями и капустой; и все же, когда мисс Милан

\* Шекспир, «Ричард II», акт IV, сц. I.

сунула ей в руку зеркало и она оглядела себя в новом, уже готовом платье, у нее сердце зашло от удивительного блаженства. Залитая светом, она заново явилась на свет. Избавясь от забот и морщин, она стала такой, какой себе мечталась,— красивой женщиной. Секунду, не больше (больше она не решилась, мисс Милан хотела определить длину), обрамленное резным красным деревом, глядело на нее серебристо-белое, таинственно улыбающееся, прелестное создание — ее суть, душа; и не только из-за тщеславия и самовлюбленности она почла ее доброй, нежной и настоящей. Мисс Милан говорила, что длиннее делать не стоит; вернее, говорила мисс Милан, морща лоб, призывая на помощь все свое соображение, надо, пожалуй, подкоротить; и вдруг Мейбл поняла, честное слово, что она любит мисс Милан, любит мисс Милан гораздо, гораздо больше, чем всех прочих, и она чуть не плакала от жалости, глядя, как мисс Милан ползает у ее ног, пучком закусив булавки, покраснев и выкатывая глаза,— чуть не плакала оттого, что один человек делает это ради другого, и вдруг ее осенило, что все-все просто люди, и она вот идет на прием, а мисс Милан укрывает клетку кенаря на ночь салфеточкой и дает ему клевать конопляное семечко прямо у нее изо рта, и от этих мыслей про то, как много в человеке покорности и терпения и какими жалкими, бедными, убогими радостями может довольствоваться человек, ей на глаза навернулись слезы.

И вот все пропало. Платье, комната, любовь, жалость, зеркало в резной раме, кенарь в клетке — все пропало, и она стояла в углу гостиной миссис Дэллоуэй, вернувшись к действительности, испытывая адские муки.

Но до чего же глупо, мелкотравчато, ничтожно, и в ее-то годы, имея двоих детей, так зависеть от чужого мнения, пора иметь собственные принципы, научиться говорить, как все: «Есть же Шекспир! Есть смерть! Мы, в сущности, ничтожные мошки» — или что там еще принято говорить.

Она смело глянула в зеркало; клевками пальцев вспушила шелк на левом плече; и пустилась в плавание по гостиной под градом копий, пронзающих ее желтое платье. Но вместо

стервозности или трагизма, какие напустила бы тут на себя Роза Шоу — Роза, та бы просто Боадицеей плыла\*, — на лице у нее были написаны глупость и заганность, она просеменила по гостиной, как школьница, ссутулясь, чуть не ползком, как побитая дворняга, и уставилась на картину, гравюру. Будто на приемы ходят картинами любоваться! Всем и каждому было ясно, зачем это ей — чтобы скрыть унижение, скрыть свой позор.

«Ну вот муха и в блюде, — сказала она себе. — На самой середке и вылезти не может, и молоко, — думала она, оперев взгляд в картину, — залепило ей крылышки».

— Ужасно старомодно, — сказала она Чарльзу Бэрту, заставляя его остановиться (чем, конечно, его возмутила) на пути к кому-то еще.

Она имела в виду или ей хотелось думать, что она имела в виду картину, а не свое платье. И одно лишь доброе слово, одно дружеское слово Чарльза все бы могло изменить. Скажи он только: «Мэйбл, вы сегодня очаровательны», и вся бы жизнь ее стала другая. Но ведь и ей бы самой тогда надо было быть прямой и правдивой. Чарльз, разумеется, ничего подобного не сказал. Редкостный злюка. Вечно тебя видит насквозь, особенно когда себя чувствуешь совсем уж мелкой, ничтожной дурой.

— У Мейбл новое платье! — сказал он, и бедную муху снесло на середку блюда. Ей-богу, ему бы даже хотелось, чтоб она утонула. В нем нет истинной доброты, нет сердца, одна светскость, мисс Милан куда искренней, куда добрей. Надо только раз и навсегда зарубить это себе на носу. «Почему, — спрашивала она себя, чересчур резко ответив Чарльзу, показав, что она не в себе, «в растрепанных чувствах», как он выразился («В растрепанных чувствах?» — и отправился над ней потешаться с какой-то дамой в углу), — почему, — спрашивала она себя, — я не могу всегда думать одинаково, зарубить себе на носу, что права мисс Милан, а не Чарльз, помнить про кенаря, и любовь, и жалость

\* Боадицея — королева племени древних бриттов, возглавлявшая восстание против римлян. Героиня поэм Теннисона и Каупера.

и не терзаться страшными муками, входя в переполненную гостиную? А все ее противный, слабый, неустойчивый характер — вечно она пасует в решительную минуту, и она не способна всерьез увлечься конхиологией, этимологией, ботаникой, археологией, разрезать на части клубни картофеля и следить за его плодоносностью, как, например, Мери Деннис, как, например, Вайолет Сэрль.

Но тут, видя, что она стоит одна, ее атаковала с фланга миссис Холман. Разумеется, такая мелочь, как платье, не стоила внимания миссис Холман, у которой вечно кто-нибудь падал с лестницы или болел скарлатиной. Не может ли Мейбл ей сказать, будут ли в августе-сентябре сдаваться Вязы? Ох, вот уж это тоска! Не очень приятно, когда тебя используют как жилищного агента или мальчишку-посыльного! Значит, ты мало что стоишь, вот что, думала она, стараясь помнить о серьезном и важном и членораздельно отвечая тем временем про ванны, и вид на юг, и горячую воду; и все время, все время кусочки желтого платья мелькали ей в круглом зеркале, которое всех превращало в пуговики на гамашах и в головастиков; и удивительно было, что такую бездну самокопания, мук, отвращения к себе, потуг, порывов и срывов может вмещать нечто величиною с трехпенсовик. И что еще удивительней — это нечто, эта Мейбл Уэринг была изолирована, совершенно сама по себе; и хотя миссис Холман (черная пуговка) клонила к ней, говоря о том, как старший ее мальчик перенапряг бегом сердце, она и ее видела в зеркале совершенно отгороженной, отделенной, и не верилось, что черное пятно, клонясь и жестикулируя, может передать желтому пятну, отдельному, одинокому, самопоглощенному, свои мысли и чувства, и однако же обе они притворялись.

— Да, мальчишек не удержишь на месте,— что тут было еще сказать.

И миссис Холман, обычно не вызывавшая сочувствия и набросившаяся на то, что перепало ей, с жадностью, как бы по какому-то праву (но ей причиталось еще, ибо имелась и дочка, девочка, и явилась сегодня к завтраку с распухшей

коленкой) взяла это жалкое подаяние, оглядела подозрительно, недоверчиво, будто ей полпенса подсунули вместо фунта, но спрятала в ридикюль и была вынуждена с ним примириться при всей его скудости, ведь пошли тяжелые времена, очень тяжелые времена; и пустилась распространяться далее — скрипучая, недовольная миссис Холман — о распухших коленках дочки. Ах, это же трагедия, если уж человек так ропщет, поднимает такой шум — как баклан бьет крыльями и вопит, — требуя сочувствия, — да, трагедия, если вправду проникнуться, а не притворяться!

Но в этом своем желтом платье она сегодня не могла больше ни единой капли из себя выдавить; она сама бесконечно нуждалась в сочувствии. Она знала (она все смотрелась в зеркало, окунаясь всем на обозрение в голубую страшную прозрачную лужу), что песенка ее спета, что она погрязла в болоте — слабое, неустойчивое создание; и ей приходило на ум, что желтое платье — наказание ей по заслугам, а будь она одета как Роза Шоу, в эту дивно облегающую зеленую прелесть с отделкой из лебяжьего пуха, это тоже было бы по заслугам; и выхода не было никакого, решительно никакого выхода. Но ведь, в конце концов, разве она виновата? Их было десять человек в семье; вечно не хватало денег, вечно приходилось жаться, биться; и мама таскала тяжеленные бидоны, и на лестнице протирался линолеум, и они не вылезали из противных передряг — ничего катастрофического, банкротство овцеводческой фермы, но не полное; старший брат делает мезальянс, но не жуткий — ничего романтического, выдающегося. Они честь честью рассеялись по курортам; и теперь еще у нее возле каждого пляжа по тетке, спят мирным сном в снятых комнатах, выходящих не прямо на море. Такая уж у них судьба — вечно на все коситься. Ну а она сама? Мечтала жить в Индии, выйти замуж за какого-нибудь сэра Генри Лоуренса\*, ге-

\* Лоуренс, сэр Генри, Монтгомери (1806—1857) — английский генерал, убитый при подавлении индийского народного восстания 1857—1859 гг., возведенный, в частности, в поэме Теннисона «Защита Лакнау».

роя, строителя Британской Империи (она и сейчас трепещет при виде индийца в тюрбане), и полностью обанкротилась. Вышла замуж за Хьюберта с прочным скромненьким местом в суде, и они кое-как перебиваются в своем жалком домишке, даже без приличной прислуги, на овощном рагу, когда она одна, а то и на хлебе с маслом, но иногда — миссис Холман удалялась, сочтя ее несочувственной, бездушной выдрой и, между прочим, нелепо разряженной, и всем потом собиралась рассказывать, каким чучелом явилась Мейбл на прием, — но иногда, думала Мейбл Уэринг, одна на голубом диване, пощипывая подушку, чтобы не сидеть у всех на виду без дела, потому что ей не хотелось идти к Чарльзу Бэрту и Розе Шоу, которые трещали как сороки и, наверное, смеялись над ней у камина, — иногда выдавались вдруг бесподобные мгновения, недавно, например, когда она читала ночью в постели, или тогда у моря, на солнечном пляже, на Пасху — да, так как это было? — тугой пук прибрежных седых трав копьями нацеливался на небо, и оно было синее, как синий однотонный фарфор, такое гладкое и твердое, и потом эта песенка волн — шш — пели волны, и плескались детские голоса — да, это было дивное мгновение, и она лежала как на ладони у богини, которая была — весь мир; жестокой, но прекрасной собою богини; агнец, возложенный на алтарь (какие только не приходят в голову глупости, но ничего, лишь бы их вслух не произносить). И с Хьюбертом тоже, вдруг неожиданно-негаданно — когда, например, разделяла баранину к тому воскресному завтраку, ни с того ни с сего, когда распечатывала письмо, входила в комнату — выдавались божественные мгновения, и она говорила сама себе (больше никому ведь такое не скажешь): «Вот оно. Не отнимешь. Вот!» И что интересно — иногда все так складно: музыка, погода, каникулы, кажется, радуйся — и ничего. Радости нет. Просто скучно, пусто, и все.

Тожe, конечно, из-за ее собственной никудышности! Она раздражительная, бестолковая мать, бесхарактерная жена, и она влачит серую, неинтересную жизнь, ни к чему не стремится, не умеет настоять на своем, как все ее братья и сест-

ры, кроме, может быть, Герберта, — ни на что не способные размазни. И вдруг среди всей этой тягомотины у нее дух захватывает от высоты. Никудышная муха — и где она читала эту историю, которая из головы не выходит? — выкарабкивается из блюдца. Да, бывают такие мгновения. Но уже ей сорок, они будут все реже и реже. Постепенно она перестанет карабкаться. Но ведь это ужасно! Это непереносимо. Это стыдно, в конце концов!

Завтра же она отправится в Лондонскую библиотеку. Нападет на прекрасную, душеспасительную, дивную книгу какого-нибудь священника, американца, о котором никто не слышал; или она пойдет по Странду и случайно окажется в зале, где шахтер рассказывает о жизни в шахте, и вдруг она станет другим человеком. Совершенно преобразится. Будет ходить в форме; называться сестра Такая-то; в жизни больше не станет думать о тряпках. И раз навсегда запомнит про Чарльза Бэрта и мисс Милан, про ту комнату и эту; и день за днем, всегда, все будет так, как когда она лежала на солнце или разделявала баранину. Так и будет!

Она поднялась с голубого дивана, и желтая пуговка в зеркале дернулась, она помахала Чарльзу и Розе, чтоб показать, что совершенно в них не нуждается, и желтая пуговка оторвалась от зеркала, и все копыя сразу вонзились ей в сердце, когда она подошла к миссис Дэллоуэй и сказала: «Спокойной ночи».

— Уходите? — сказала миссис Дэллоуэй.

— Мне, пожалуй, пора, — сказала Мейбл Уэринг. — Но я, — прибавила она своим слабым, бесхарактерным голосом, который делался только смешным, когда она пыталась придать ему вескости, — я очень, очень приятно провела вечер.

— Я очень приятно провела вечер, — сказала она мистеру Дэллоуэю, встретив его на лестнице.

«Лжет, лжет, лжет!» — стучало у нее в голове, когда она спускалась по лестнице, и «В самой середке блюдца» — стучало у нее в голове, когда она благодарила миссис Барнет, помогавшую ей одеться, и куталась, куталась, куталась в мантильку, которую носила последние двадцать лет.



## Фазанья охота

Она вошла, положила на полку чемодан и поверх — связанных парой фазанов. И села в углу. Поезд грохотал по каким-то глухим местам, с нею вместе в вагон ввалилась мутная мгла и словно его расширила, далеко разбросав по углам четырех пассажиров. Очевидно, М. М. (так свидетельствовала чемоданная наклейка) провела выходные с охотниками. Очевидно, ибо, откинувшись на спинку сиденья, она пересказывала теперь свою повесть. Она не закрыла глаза. Но, конечно, она не видела ни господина напротив, ни Йоркского собора на цветной фотографии. И наверное, она еще слышала умолкшие голоса, потому что сидела, пристально уставясь перед собою, и губы ее шевелились; иногда она вдруг улыбалась. И она была миловидна; махровая роза; наливное яблочко; румяная; но со шрамом на щеке — шрам растягивался, когда она улыбалась. Судя по этой повести, она провела выходные с охотниками в качестве гостыи, но одета она была старомодно, так, как были одеты женщины на давних-давних картинках в спортивных газетах, и, значит, едва ли она была гостыя, но, пожалуй, и не служанка. Будь у нее в руках корзина, она сошла бы за женщину, разводящую фокстерьеров; за хозяйку сиамской кошки; за кого-то, кто связан с лошадьми и собаками. Но у нее были только чемодан и эта пара фазанов. Каким-то образом, стало быть, она, вероятно, проникла в комнату, проступившую сквозь вагонные декорации, голову лысого господина, Йоркский цветной собор. И очевидно, она слушала, что там говорят, потому что вот она — так, как делают, передразнивая кого-то еще, — легонько крикнула: «Кх». И потом, она улыбалась.

— Кх,— сказала мисс Антония, поправляя на носу очки. За стрельчатыми окнами галереи проплывали мокрые листья; некоторые прилипали рыбками к стеклам, да так и оставались на них, как инкрустации темного дерева. Потом по Парку шла дрожь, и парящие листья делали эту дрожь видимой — мокрой и темной.

— Кх,— мисс Антония крикнула снова и щипнула что-то

тончайшее, белое, что держала в руках, как курица быстро и нервно щиплет кусочек белого хлеба.

Вздыхал ветер. Сквозняк гулял по комнате. Двери были плохо пригнаны, окна тоже. То и дело зыбь пробегала ящерицей по ковру. Солнце бросило на ковер зеленые и желтые плети, потом оно сдвинулось, оставило назидательный палец в дыру на ковре и снова застыло. А потом он потянулся вверх, слабенький, но непререкаемый палец, и выделил над камином — озаренным смутно — щит, висящие гроздь, русалку и копыя — герб. Мисс Антония подняла глаза. Землями они владели обширными, говорили, — предки, ее праотцы, Рашли. Там, по Амазонке. Мореплаватели. Флибустьеры. Мешки изумрудов. Обрыскивали острова. Брали пленников. Дев. Ишь вся в чешуйках, хвостатая. Мисс Антония усмехнулась. Солнечный палец дернулся и опустился, она потянулась за ним взглядом. Он остановился на серебряной раме; то была фотография; лысеющее темя яйцом; выпирающая под усами губа; и снизу подпись — Эдуард, с пышной завитушкой.

— Король, — бормотнула мисс Антония, поворачивая белую дымку у себя на коленях. — Спал в Синей комнате, — добавила она и дернула головой, следя за поблекшим лучом.

В Королевской Аллее фазанов гнали под ружейные дула. Тяжко выбрасывались они из подлеска ракетами, рдяными ракетами, и ружья трещали по очереди, весело, звонко, будто вдруг заливалась лаем свора собак. Пучки белого дыма мгновенье медлили в воздухе, потом нежно расползались, блекли, таяли.

На дороге, глубоко врезавшейся в лесистый отвес, уже стояла телега, нагруженная теплыми тушками; коготки были расправлены и блестели глаза. Казалось, птицы еще живые, только обморочно обмякли под пышными мокрыми перьями. Будто отдыхают, будто спят на теплой насыпи мягких перьев, чуть подрагивая во сне.

И тогда Помещик с перепачканным, страшным лицом, в потертых гетрах чертыхнулся и взвел курок.

Мисс Антония шила. Пламя вдруг лизало одно из поленьев, вытянувшихся вдоль решетки, жадно глодало его и гасло, оставя серый браслет на месте выеденной коры. Мисс Антония поднимала взгляд, смотрела пристально, пусто, как смотрит на огонь собака. Пламя опадало, и она снова шила.

И тогда — бесшумно — распахнулась огромная дверь. Вошли двое тощих мужчин и поставили стол на ковер, на то место, где была дыра. Они вышли; вошли. Расстелили по столу скатерть. Они вышли; вошли. Внесли ножи и вилки в корзине, обитой зеленым сукном; и бокалы; и сахарницы; и солонки; и хлеб; и серебряную вазу с тремя хризантемами. И стол был накрыт. Мисс Антония шила.

Дверь теперь уже не распахнулась, но отворилась тихонько. Вбежала собака, чутко внюхивающийся спаниель; и замер. Дверь осталась открытой. И вот, опираясь на палку, тяжело ступая, вошла старая мисс Рашли. Белая шаль, закрепленная бриллиантовой брошью, окутывала ее лысую голову. Она еле шла; она одолела комнату; дугой согнулась в высоком кресле подле огня. Мисс Антония продолжала шить.

— Стреляют, — наконец сказала она.

Старая мисс Рашли кивнула. Сжала в кулаке палку. Обе сидели и ждали.

Охотники перешли уже из Королевской Аллеи к Ближним Рошам. Остановились на фиолетовой пашне. Хрустели сучья; кружили листья. И над туманом и дымом островок синевы — нежной синевы, разбавленной синевы — одиноко плавал в высоком небе. И по беспмятному воздуху заигравшимся херувимом, резвясь, куролеся, пробежался одинокий звон дальней, невидимой колокольни — пробежался и замер. И снова вверх, вверх взметнулись ракеты, взметнулись рдьяные фазаны. Еще, еще. Снова тявкали ружья; дымные шары повисали в воздухе; расплывались, таяли. И маленькие собачки, чутко внюхиваясь, носились по полям; и люди в гетрах связывали парами нежные тушки, теплые, словно обморочные тельца, и швыряли в телегу.

— Ну вот! — сказала Милли Мастерс, экономка, и сняла очки. Она тоже шила в темной комнатухе, окнами на конюшенный двор. Фуфайка, грубая шерстяная фуфайка для сына, мальчишки, убравшего церковь, была наконец готова.— И вся недолга! — пробормотала она. Потом она услышала телегу. Хруст колес по камням. И встала. Придерживая руками волосы, свои русые волосы, она стояла на дворе, на ветру.

— Идут! — она засмеялась, и шрам растянулся у нее на щеке. Она сняла тяжелый болт с двери кладовой, и Винг, лесник, ввез по камням телегу. Птицы теперь уже были мертвые, они цепко сжимали коготки, сжимали пустоту. Веки собирались над глазами в серые складки. Миссис Мастерс, экономка, и Винг, лесник, брали связанных птиц за шейки и бросали на каменный пол кладовой. Пол был в кровавых подтеках и пятнах. Фазаны стали как-то меньше, будто съежились под опереньем. Потом Винг откинул задний борт телеги и вогнал штыри, которые его закрепляли. Боковые борта были облеплены синеватыми перьями, дно перемазано кровью. Но телега была пуста.

— Все, сердешные! — усмехнулась Милли Мастерс, и телега загрохотала прочь.

— Кушать подано, ваша милость,— сказал дворецкий. Он кивнул на стол; дал указания лакею. Лакей поместил блюдо под серебряной крышкой в точности где ему было велено. Оба ждали, лакей и дворецкий.

Мисс Антония отложила белое, воздушное шитье; отложила нитки; наперсток; воткнула иглу в кусочек фланельки; и повесила очки на крючок у себя на груди. Потом она поднялась.

— Кушать! — рывкнула она в ухо старой мисс Рашли. Секунду спустя мисс Рашли выбросила вперед одну ногу; сжала палку; и тоже поднялась. Обе старухи медленно прошествовали к столу. И были усажены лакеем и дворецким по одну его сторону и по другую. Вспорхнула серебряная крышка. Под ней лежал фазан, голый, блестящий; с тесно прижатыми к бокам ножками; и обложенный кучками сухарей.

Мисс Антония твердо вонзила нож в фазанью грудь. Отрезала два кусочка и положила на тарелку. Лакей ловко ее выхватил, и мисс Рашли воздела свой нож. За окном раскатились выстрелы.

— Идут? — сказала старая мисс Рашли, забыв на весу вилку.

Деревья Парка широко махали ветвями.

Она откусила кусочек фазаньего мяса. Листья с шелестом задевали за стекла; некоторые налипали на них.

— Уже в Ближних Рощах,— сказала мисс Антония.— Хью их спустил. Свое поохотился,— она вонзила нож в другую сторону грудки. Тщательно, кружком раскладывала она на тарелке картошку с подливкой, брюссельскую капусту под белым соусом. Дворецкий с лакеем смотрели внимательно, как служители на пиру. Старые дамы ели медленно; молча; они не спешили; они тщательно обглаживали птицу. На тарелках оставались одни косточки. Потом дворецкий подвинул мисс Антонии штоф и мгновение медлил, склонив голову.

— Дайте сюда, Гриффитс,— сказала мисс Антония, взяла в руки скелетик и кинула под стол спаниелю. Дворецкий с лакеем поклонились и вышли.

— Совсем рядом,— сказала мисс Рашли, прислушиваясь. Ветер усилился. Парк била темная дрожь, листья срывались уже вихрями, не задерживались на стеклах. Окна гремели.

— Птичий переполох.— Мисс Антония помотала головой, глядя на всю эту кутерьму.

Старая мисс Рашли наполнила свой бокал. Обе потягивали вино, и глаза у них засияли, как сияют полудрагоценные камни на свету. Сизо-синие стали глаза у мисс Рашли; у мисс Антонии — красные, как вино. А кружева и оборки будто подрагивали, пока они пили, будто тела у них теплые и вялые под опереньем.

— Был вот такой же день, помнишь? — сказала старая мисс Рашли, вертя свой бокал.— Его принесли домой — с пулей в сердце. Сказали, куст. Оступился. Свалился.— Она хохотнула, потягивая вино.

— А Джон...— сказала мисс Антония.— Сказали, кобыла. Попала копытом в яму. Умер на месте. Над ним пронеслась охота. Тоже домой вернулся — на ставне...— Они снова потягивали вино.

— Лили помнишь? — сказала старая мисс Рашли.— Дрянь женщина.— Она помотала головой.— В седло влезала с красной кисточкой на стеке.

— Ни стыда ни совести! — рявкнула мисс Антония.

— Письмо полковника помнишь? Ваш сын несся как одержимый, увлекая за собой людей. И один белый мерзавец... Эхма! — Она снова пригубила свой бокал.

— Мужчины в нашем роду...— начала мисс Рашли. Она подняла бокал. Она держала его высоко, словно предлагала тост лепной русалке над камином. И запнулась. Тявкнули ружья. Что-то хрустнуло в лесу. Или это крыса метнулась за лепниной?

— Вечно женщины.— Мисс Антония кивнула.— Да, мужчины в нашем роду. Эта белая, румяная Люси с мельницы, помнишь?

— Дочка Эллен из «Козла и Серпа»,— подхватила мисс Рашли.

— А портнова дочка,— бормотала мисс Антония.— Хью покупал у них бриджи, в темной лавчонке на том берегу...

— ...их еще затопляло каждую зиму. Это ведь его мальчишка,— мисс Антония фыркнула, перегибаясь к сестре,— который церковь убирает.

Грянул грохот. В дымоход рухнула шиферная плитка. Огромное полено расколосось надвое. Комья гипса посыпались с герба на ковер.

— Рушится,— фыркнула старая мисс Рашли.— Рушится.

— А кто,— сказала мисс Антония, озирая комья на ковре.— Кто расплачиваться будет?

Пуская пузыри, как два дряхлых младенца, тупо, пусто обе захохотали; перешли к камину и потягивали шерри подле комьев штукатурки и пепла, пока в каждом бокале не осталось пылать всего по одной красной капле на донышке. Им не хотелось, кажется, совсем расставаться с вином; сидя

рядышком у засыпанного камина, они вертели в руках бокалы, но не подносили к губам.

— Милли Мастерс, ключница-то наша,— начала старая мисс Рашли.— Она ведь нашего брата...

Выстрел тьякнул под окном. И перебил ниточку, на которой держался ливень. Он обрушился на окна, он хлестал их ровными розгами. Свет на ковре погас. И глаза у старух погасли. Они сидели, вслушивались, и глаза у них стали как вытащенная из воды галька; скучные, серые, сухие окатыши. И руки вцепились в руки, как птичьи коготки, вцепившиеся в пустоту. И обе стали меньше, словно тела у них съежились под платьями.

Потом мисс Антония потянулась бокалом к русалке. Оставалась последняя капля; она ее выпила. «Идут!» — каркнула она и стукнула об стол бокал. Грохнула брошенная с размаху дверь. Другая. Еще. По коридору к галерее близились тяжкие, но шаркающие шаги.

— Рядом! Рядом! — Мисс Рашли усмехнулась, оскалив три желтых зуба.

Распахнулась гигантская дверь. Ворвались три огромных пса и, задыхаясь, замерли на пороге. Потом, горбясь, вошел сам Помещик в потертых гетрах. Псы прыгали на него, дергали мордами, обнюхивали его карманы. Потом кинулись вперед. Учюяли мясо. От кипенья хвостов и спин галерея ходуном ходила, как лес под хлыстом ветра. Они обнюхивали стол. Рвали лапами скатерть. И вот с визгом и воем бросились на рыженького спаниеля, который глодал фазаний скелет под столом.

— Проклятье! Проклятье! — взревел Помещик. Но голос был тусклый, будто надломленный встречным ветром.— Проклятье! Проклятье! — орал он, проклиная уже сестер.

Мисс Антония и мисс Рашли вскочили на ноги. Огромные псы схватили спаниеля. Они терзали его, хватали желтыми клыками. Помещик махал, махал ременной плеткой, клял собак, клял сестер, а голос был у него громкий, но тусклый, дальний. Удар — и он смахнул на пол вазу с хризантемами.

Еще — и он огрел по щеке мисс Рашли. Старуха запрокинулась навзничь, задела каминную доску. Палка, дико взметнувшись, ударила по щиту на гербе. Мисс Рашли с глухим стуком упала в золу. Герб Рашли сорвался со стены. Мисс Рашли лежала погребенная — под копытами, под русалкой.

Ветер стегал по стеклам; залп прокатился по Парку, упало дерево. И тогда-то король Эдуард в серебряной раме дрогнул, опрокинулся и тоже упал.

В вагоне сгустился серый туман. Болтался как занавес: он словно разбросал по углам пассажиров далеко друг от друга, хотя в действительности они сидели совсем близко, как и положено сидеть пассажирам в вагоне третьего класса. И странное дело. Миловидная, хоть и немолодая женщина, в приличном, хоть и потертom платье, которая вошла в вагон на какой-то глухой станции, словно утратила очертанья. Тело ее обратилось в туман. Только глаза блестели, менялись и жили как бы сами по себе; глаза без тела; глаза, видевшие то, что не видно другим. Они сияли в промозглом воздухе, они блуждали, и в могильной атмосфере вагона — окна запотели и на лампах были мгlistые венчики — они были как пляшущие огоньки, как блуждающие огоньки, которые, люди говорят, пляшут над могилами тех, кто спит беспокойно на кладбище. Нелепая мысль? Пустая фантазия! И однако же, раз ничто не кончается без осадка, а наша память — это пляшущий в уме огонек, когда прожитое погребено, быть может, и эти глаза, сияющие, блуждающие, — дух семьи, дух эпохи, культуры, пляшущий над могилой?

Поезд замедлил ход. Фонари вытянулись и замерли. Надломились. И снова вытянулись, когда поезд вкатил в вокзал. Фонари пылали. Ну а глаза в углу? Они закрылись. Быть может, от слепящего света. И разумеется, в слепящем свете вокзальных огней стало совершенно ясно — это самая обычная, очень немолодая женщина приехала в Лондон по какой-то самой обычной надобности — что-нибудь связанное с кошкой, или с лошастью, или с собакой. Она потянулась за чемоданом, встала и сняла с полки фазанов. И все же



разве, открыв дверь вагона и сходя на перрон, не крикнула она «кх, кх» на ходу?

## Лапин и Лапина

И вот они муж и жена. Отгремел свадебный марш. Порхали голуби. Мальчуганы в итонских пиджачках швыряли рис, фокстерьер трусил через дорогу, а Эрнест Торберн вел невесту к машине сквозь группку зевак, без которых не обходится ни одно событие в Лондоне: они никогда не упускают случая насладиться зрелищем чужого счастья, равно как и несчастья. Он, ничего не скажешь, видный мужчина, она конфузится. Их еще раз обсыпали рисом, и автомобиль тронулся.

Было это во вторник. Сегодня была суббота. Розалинда никак не могла привыкнуть к своему новому имени — миссис Эрнест Торберн. А вдруг она так и не привыкнет зваться миссис Эрнест Такая-то, думала Розалинда, глядя из эркера гостиницы на горы за озером — она поджидала, когда муж сойдет к завтраку. К имени Эрнест так легко не привыкнешь. Она бы ни за что не выбрала такое имя. Тимоти, Энтони, Питер не в пример лучше. И он ничуть не похож на Эрнеста. Это имя неотъемлемо от памятника Альберту\*, буфетов красного дерева, офортгов с изображением принца-супруга в кругу семьи — короче, от столовой ее свекрови на Порчестер-Террас.

А вот и он. Слава тебе господи, на Эрнеста он ничуть не похож, вот уж нет. На кого же он похож? Она искоса глянула на него. Вот оно, когда откусывает тост — он вылитый кролик. Никто, кроме нее, не усмотрел бы в этом подтянутом, спортивного вида молодом человеке с прямым носом, голубыми глазами и жесткой складкой рта сходства с крохотным трусливым зверьком, но тем смешнее. Когда он ел, нос его

\* Мемориал в стиле ложной готики, возведенный в честь принца Альберта (1819—1861), супруга королевы Виктории.

чуть заметно дергался. Точь-в-точь как нос у ее любимого кролика. Она смотрела, как он дергает носом; он перехватил взгляд — пришлось объяснить, что ее насмешило.

— Ты вылитый кролик, Эрнест,— сказала она.— Только не домашний, а дикий,— продолжала она, приглядываясь к нему.— Кролик-охотник, Царь-кролик, властелин всех кроликов.

Таким кроликом Эрнест был не прочь стать, и раз ее смешило, когда он дергал носом, а он ведь знать не знал об этом, он начал дергать носом умышленно. Она заливалась смехом, он вторил ей, и тут уж и старые девы, и рыболовы, и официант-швейцарец в засаленном черном пиджаке сразу догадались: они очень счастливы. Но такое счастье, долго ли оно продлится? — задавались они вопросом; и всякий отвечал исходя из своего опыта.

В полдень, сидя на поросшем вереском берегу озера, «Кролик, хочешь салатика? — спросила Розалинда, протягивая пучок салата, который они вместе с крутыми яйцами прихватили на второй завтрак.— Давай ешь из моих рук»,— добавила она, и он придвинулся поближе, и грыз салат, и дергал носом.

— Хороший крольчишка, славный крольчишка,— сказала она и погладила его, как привыкла гладить своего ручного кролика. Нет, это решительно не то. Уж кем-кем, а ручным кроликом он никак не мог быть. А что, если перейти на французский?

«Lapin!» — позвала она. Но уж кем-кем, а французским кроликом он тем более не мог быть. Англичанин до мозга костей, он родился на Порчестер-Террас, учился в Регби, а сейчас состоял на службе Его Величества короля. Тогда на пробу она назвала его крольчонок — нет, это и вовсе никуда не годится. Крольчонок — он пухлый, мяконецкий, смешной; а Эрнест худощавый, весь как литой, положительный. Так-то оно так, а нос у него все равно дергался. «Лапин»,— вдруг вырвалось у нее; она даже вскрикнула, как бывает, когда ищешь, ищешь и вдруг подыщешь нужное слово.

— Лапин, Лапин, царь Лапин,— твердила она.

Кличка подошла ему как нельзя лучше — никакой он не Эрнест, он царь Лапин. Почему Лапин? А бог его знает.

Когда во время долгих уединенных прогулок у них не находилось свежих тем для разговоров, а дождь зарядил, как и предрекали знакомые; или когда они посиживали вечерами у камина, спасаясь от холода, а старые девы и рыболовы уже разошлись по своим комнатам, а официант появлялся, только если позвонить в колокольчик, фантазия ее разыгрывалась и она сочиняла историю племени Лапиных. В ее рассказах — она тем временем шила, он читал — они были совсем как живые, у каждого свой характер, и ужасно забавные. Эрнест откладывал газету, приходил ей на помощь. И на свет появлялись черные кролики и рыжие; кролики-враги и кролики-друзья. Появлялся и лес, где жили кролики, и степь за ним, и топь. Но прежде всего их занимал царь Лапин. Времена, когда он только и умел, что дергать носом, миновали — теперь это был зверь во всех отношениях замечательный. Розалинда что ни день отыскивала в нем новые достоинства. Но прежде всего он был великолепный охотник.

— А что царь изволил делать сегодня? — спросила Розалинда, когда пошел последний день их медового месяца.

На самом деле они весь день ходили по горам, она набила на пятке волдырь; но спрашивала она его не об этом.

— Сегодня,— сказал Эрнест, откусил сигару и не преминул подергать носом,— он гнался за зайцем,— замолчал, чиркнул спичкой и снова дернул носом.— Вернее, за зайчихой,— уточнил он.

— За белой зайчихой,— подхватила Розалинда, будто только того и ждала.— За такой маленькой серебристой зайчишкой с большими блестящими глазами.

— Вот-вот,— сказал Эрнест и пригляделся к ней точно-точно как она приглядывалась к нему,— это такая совсем маленькая зайчишка, передние лапки свесила, глазки навывкате.— Он очень точно описал, как сидит Розалинда —

из ее рук свисало шитье, а глаза, блестящие и большие, были и впрямь слегка навывкате.

— А-а, Лапина,— выдохнула Розалинда.

— Так вот ее как зовут — настоящую Розалинду? — спросил Эрнест и поглядел на нее. Он любил ее без памяти.

— Да, так ее и зовут — Лапина,— сказала Розалинда.

Перед тем как лечь спать, они все обговорили. Отныне он царь Лапин; она царица Лапина. Они полная противоположность друг другу; он — отчаянно смелый и непреклонный; она — недоверчивая и непостоянная. Он правит хлопотливыми кроликами; ее царство — пустынный и таинственный край, где она блуждает лишь лунными ночами. Территории их тем не менее соприкасаются — они царь и царица.

Итак, после медового месяца они сделались обладателями своего собственного мира, где кроме белой зайчихи обитали только кролики. Ни одна живая душа не подозревала о его существовании, но так было даже интересней. У них появилось ощущение, свойственное большинству молодых, а им еще в большей степени, чем другим, что они в заговоре против остального мира. Они хитро поглядывали друг на друга, когда разговор заходил о кроликах, лесах, западнях и охоте. Исподтишка перемигивались через стол, как в тот раз, когда тетя Мэри сказала, что видеть не может жареных кроликов — до того они похожи на младенцев; или когда Эрнестов братец Джон, рьяный охотник, излагал им, почему в Йоркшире этой осенью ходят кролики — за все про все, вместе со шкуркой. Порой у них возникала нужда в егере, браконьере или управляющем, и они потешались всюю, определяя, кому из знакомых какая роль годится. К примеру, мать Эрнеста, миссис Реджинальд Торберн, была прямо создана для роли управляющего. Но в тайну свою они никого не посвящали — иначе какой интерес? Этот мир существовал только для них двоих.

Не будь этого мира, продержалась бы она эту зиму? — спрашивала себя Розалинда. Взять хотя бы золотую свадьбу, когда Торберны все как один стеклись на Порчестер-

Террас, чтобы отпраздновать полувековой юбилей союза, столь благословенного: разве он не подарил миру Эрнеста Торберна, и столь плодотворного — разве не родились от этого союза еще девтеро сыновей и дочерей, которые в свою очередь сочетались браками, и браки их в свою очередь были плодотворны. Она с ужасом ожидала этого вечера. Но не пойти на него не могла. Как жаль, что она единственный ребенок, и вдобавок сирота, думала Розалинда, поднимаясь по лестнице, да она просто затеряется среди бесчисленных Торбернов, собравшихся в большом зале, оклеенном лоснящимися, атласистыми обоями, со стен которого глядели отблескивающие глянец семейные портреты. Живые Торберны мало чем отличались от нарисованных, разве что рты у них были не нарисованные, а всамделишные, и рты эти отпускали шутки; шутки школьные, о том, как выдернули стул из-под гувернантки; шутки о лягушках — как их подкладывали в непорочные постели старых дев. А Розалинда даже жеваной бумажкой ни в кого сразу не плюнула. Сжимая в руке подарок, она подходила к свекрови, пышно облаченной в желтое атласное платье, к свекру, у которого в петлице красовалась роскошная желтая гвоздика. А вокруг них на столах и стульях громоздились золотые подношения: одни покоились в вате; другие — возносили ввысь свои блистающие ветви — канделябры; портсигары; цепочки; и на каждом даре клеймо золотых дел мастера, чтобы не возникло и тени сомнений — это не подделка, а золото самой что ни на есть высокой пробы. Ее же подарок — всего-навсего томпаковая дырчатая коробочка; старинная песочница, подлинная вещица XVIII века, — из таких в былые времена посыпали песком чернила для просушки. Довольно бесполезный подарок, она и сама это понимала, в век промокашек, и когда она протянула песочницу свекрови, перед ней вдруг побежали жирные приземистые строчки свекровина письма, в котором та, когда они обручились, выражала надежду, что «мой сын сделает вас счастливой». Но она не стала счастливой. Вот уж нет. Она поглядела на Эрнеста — он стоял прямой как палка,

и нос у него был точь-в-точь такой, как на всех без исключения портретах; такой нос дергаться не станет.

Потом они спустились к столу. Ее чуть не целиком закрывал высокий букет хризантем, чьи медно-золотые лепестки свивались в крупные тугие шары. Вокруг все блистало золотом. Карточка с золотым обрезаем и золотыми переплетенными инициалами содержала перечень блюд, которыми их будут обносить в строгом порядке. Она опустила ложку в тарелку с прозрачной золотой жидкостью. Свет ламп превращал промозглый белесый туман, просачивающийся в окна, в золотую пелену, размывавшую ободки тарелок и золотившую шишковатую кожуру ананасов. И лишь она в своем подвенечном платье, с чуть выпуклыми, уставившимися в одну точку глазами казалась тут белой, не поддающейся таянию сосулькой.

Обед все тянулся и тянулся, и в столовой стало парно. На лбах мужчин заблестели крупные капли пота. Она чувствовала — сосулька начинает таять. Она расплавлялась; растворялась; испарялась; того и гляди потеряет сознание. И тут сквозь вихрь мыслей в голове и гомон в ушах до нее донесся громкий женский голос:

— А до чего плодущие!

— Торберны — они и точно плодущие, — подхватила она, обводя взглядом одну за другой толстые раздумявшиеся физиономии, которые двоились от нахлынувшего на нее головокружения, разрастались от дымки, окружавшей их золотым нимбом.

— А до чего плодущие!

И тут Джон как рявкнет:

— Погань!.. Стрелять их... Давить сапогами! Иначе от них продыху не будет... Уж эти мне кролики!

Услышав это слово, она ожила словно по волшебству. Посмотрела на Эрнеста и увидела, как дернулся за стеблями хризантем его нос. Нос пошел рябью морщин, он дернулся раз-другой-третий. И с Торбернами стало твориться нечто непостижимое. Золотой стол оборотился пустошью, где пламенел цветущий дрок; гомон голосов обернулся веселой

трелью жаворонка, звенящей в небе. В голубом небе, по которому неспешно плыли облака. И Торберны — все до одного — вмиг преобразились. Она поглядела на свекра — плутоватого человечка в крашенных усах. Страстный коллекционер — он собирал печатки, эмалевые коробочки, всевозможные безделушки, уставлявшие туалетные столики XVIII века, и рассовывал их по ящикам кабинета подальше от глаз жены. И тут ей открылось, кто он такой — браконьер, который, припрятав под куртку фазанов и куропаток, удирает в свой закопченный домишко и там украдкой варит их на треноге. Вот кто такой ее свекор на самом деле — браконьер. А Силия — незамужняя дочь, вечно вынюхивающая чужие тайны, всевозможные мелочи, которые люди оберегают от чужих глаз, — она белый хорек с красными глазами и носом, перепачканным оттого, что она вечно сует его куда не след. Болтаться в сетке за плечами охотников, ждать, когда тебя запустят в нору, — поистине жалкая жизнь у Силии, но кому что на роду написано. Вот какой ей открылась Силия. Потом она перевела взгляд на свекровь, которую они окрестили управляющим. Краснолицая, бездуховная, самодурка — все это так, но когда она стояла и благодарила поздравляющих, Розалинде, вернее, Лапиной свекровь открылась в новом свете, и ей открылся обветшалый особняк с осыпающейся штукатуркой за ее спиной, и послышались рыдания в ее голосе, когда она благодарила своих детей (а они ненавидели ее!) за ту жизнь, которой не было и в помине. Внезапно наступила тишина. Они подняли бокалы; осушили; вот и вечеру конец.

— Ой, царь Лапин, не пошевели ты тогда носом, не миновать бы мне западни, — жаловалась Розалинда, когда они брели сквозь туман домой.

— Но теперь-то тебе нечего бояться, — сказал царь Лапин и пожал ей лапку.

— Нечего, — ответила она.

И они возвратились домой парком — царь и царица топей, туманов и напоенных запахом дрома пустошей.

Так шло время; один год; два года. И однажды зимней

ночью — по прихоти случая она пришлась на годовщину золотой свадьбы, только миссис Реджинальд Торберн уже не стало; дом сдавался внаем; и жил там теперь один сторож — Эрнест вернулся со службы домой. Они устроились очень мило: занимали полдомика над лавкой шорника в Южном Кенсингтоне, поблизости от метро. Погода стояла холодная, над городом навис туман, и Розалинда сидела у камина и шила.

— А знаешь, что со мной сегодня случилось? — спросила она, едва он сел и протянул ноги к камину. — Перехожу я через ручей и тут...

— Какой еще ручей? — оборвал ее Эрнест.

— Ручей в ложине, там, где черный лес подходит к нашему, — объяснила она.

Эрнест оторопело посмотрел на нее.

— Что ты городишь? — спросил он.

— Эрнест, милый, — ужаснулась она. — Царь Лапин! — и поболтала лапками, на которых играли отблески пламени. Но нос не дернулся. Ее руки — они вновь стали руками — вцепились в шитье, глаза чуть не выскочили из орбит. Пять долгих минут она ждала, пока он превратится из Эрнеста Торберна в царя Лапина, и все это время она чувствовала на себе страшный груз — ощущение было такое, будто ей вот-вот свернут шею. Но наконец он все же обернулся царем Лапиным; нос его дернулся, и весь вечер они, как у них повелось, бродили по лесам.

И все же спалось ей плохо. Посреди ночи она проснулась — с ней творилось что-то неладное. Она заковенела, продрогла. В конце концов она включила свет и поглядела на лежащего рядом Эрнеста. Он крепко спал. Похрапывал. Но хоть он и храпел, нос его не шевелился. Можно подумать, он и вовсе никогда не дергался. А что, если он самый настоящий Эрнест; что, если она и в самом деле замужем за Эрнестом? И перед ней возникла столовая ее свекрови; и там сидели она и Эрнест, совсем старые, над ними висели офорты, а перед ними громоздился буфет... Они праздновали свою золотую свадьбу... Нет, этого она не могла перенести.



— Лапин, царь Лапин! — шепнула она, и нос его, казалось, дернулся сам собой. Но он продолжал спать.— Лапин, проснись! — позвала она.

Эрнест проснулся, увидел, что она сидит на постели, и спросил:

— Что с тобой?

— Мне почудилось, мой кролик погиб! — заскулила она.

Эрнест вспыхнул.

— Не пори чепухи, Розалинда, — сказал он. — Ложись давай спать!

Повернулся на другой бок. И сразу же заснул, захрапел.

А ей не спалось. Она лежала, поджав коленки, на своей половине кровати, совсем как зайчиха на блюде. Она выключила лампу, но тусклый свет уличного фонаря падал на потолок, и на нем кружевной сеткой отпечатывались ветви за окном, и ей виделась там тенистая роща, в которой она бродила, петляла туда-сюда, кружила, и сама охотилась, и за ней охотились, и лаяли собаки, и трубили рожки; и она мчалась, спасалась... до тех самых пор, пока горничная не отдернула шторы и не принесла чай.

Назавтра она места себе не могла найти. Ее преследовало ощущение, будто она что-то потеряла. Ей чудилось, что ее тело съежилось, сжалось, потемнело, одеревенело. Ноги и руки тоже были как чужие, а когда, слоняясь по квартире, ей случалось проходить мимо зеркала, ей мерещилось, будто глаза у нее торчат из орбит точь-в-точь как коринка из булки. И комната тоже съежилась. Громоздкая мебель выставляла свои углы в самых неожиданных местах — она то и дело ушибалась. И вот она надела шляпку и выскочила на улицу. Побрела по Кромвель-Роуд; и каждая комната, мимо которой она проходила, в которую заглядывала, мнилась ей столовой, где за желтыми кружевными занавесками обедают люди, а над ними висят офорты, а перед ними громоздятся буфеты. И вот наконец и Музей естественной истории — в детстве она любила сюда ходить. Но не успела она переступить порог музея, как наткнулась на чучело зайчихи с красными стеклянными глазами на искусственном

снегу. Непонятно почему ее с головы до ног пронизала дрожь. Скоро начнет смеркаться — может быть, ей тогда станет легче? Она ушла домой, не зажигая света, села у камина и попыталась представить, что она одна на пустоши; неподалеку бежит ручей, а за ручьем чернеет лес. Но ей не перебраться через ручей. И вот она на берегу — приникла к мокрой траве, — и вот она сникла в кресле, и руки ее, на этот раз пустые, повисли, а глаза в отблесках пламени блестели тускло, как стеклянные. И тут грянул выстрел... Она подскочила, словно ее подстрелили. Но это всего-навсего Эрнест щелкнул замком. Она ждала его вся дрожа. Он вошел, включил свет. И остановился на пороге — высокий, видный, потирая красные от холода руки.

— Сумерничаешь? — сказал он.

— Ой, Эрнест, Эрнест! — вскрикнула она — ее будто подкинуло.

— Что еще стряслось? — резко спросил он и протянул руки к камину.

— Ты знаешь, Эрнест, Лапина пропала, — залепетала она, дико уставившись на него, в ее огромных глазах застыл испуг. — Она потерялась.

Эрнест насупился. Сжал губы.

— Вот оно что? — сказал он и зловеще улыбнулся жене. Минут десять он стоял, ничего не говоря, а она ждала, чувствуя, как смыкаются руки у нее на шее. — Ах вот оно что, бедняжка Лапина, — сказал он чуть погодя, поглядел в зеркало над камином и поправил галстук. — Угодила в западню на свою погибель. — Сел и уткнулся в газету.

И так их браку пришел конец.

## Реальные предметы

На обширной поверхности пляжа, опоясавшего залив, ничто не двигалось, кроме одинокого черного пятнышка. Приближаясь к хребту и ребрам брошенной на берегу шаланды,

черный силуэт обнаружил четыре ноги, и понемногу стало ясно, что он состоит из двух молодых людей. Даже не различая черт, можно было с уверенностью сказать, что их переполняет энергия молодости; в едва уловимом движении двух тел, которые то сближались, то отдалялись друг от друга, сквозила удивительная живость, и круглые головки явно извергали через крошечные рты аргументы яростного спора. Это впечатление подтвердилось, когда стала видна трость, то и дело выбрасываемая вперед с правой стороны. «Как ты можешь утверждать... Неужели ты думаешь...» — как бы вопрошала трость с правой стороны — со стороны прибойя, прочерчивая длинные прямые борозды на песке.

— К черту политику! — явственно донеслось с левой стороны, и понемногу стали различимы губы, носы, подбородки, короткие усики, твидовые кепки, охотничьи куртки, башмаки и клетчатые чулки; потянуло дымом от трубок; ничто на просторах моря и песчаных дюн не было столь реально, плотно, живо, упруго, красно, волосато и энергично, как эти два молодых тела.

Они плюхнулись на песок возле остова черной шаланды. Знаете, как порой тело само стряхивает запал спора, извиняясь за чрезмерное возбуждение; приняв удобное положение, оно своей валяжной расслабленностью заявляет о готовности предаться новому занятию — всему, что подвернется под руку. Так Чарльз, чья трость только что полосовала пляж, принялся бросать плоские камешки по поверхности воды, а Джон, который воскликнул: «К черту политику!» — запустил пальцы в песок. Он ввинчивал руку глубже, глубже — по самое запястье и дальше, так что пришлось задрать рукав, — и во взгляде его исчезла напряженность, а точнее, тот постоянный фон опыта и мысли, что придает непроницаемую глубину глазам взрослого человека, и осталась лишь чистая, прозрачная поверхность, не выражающая ничего, кроме удивления, свойственного детям. Конечно, погружение в песок сыграло тут свою роль. Он вспомнил, что, если выкопать достаточно глубокую ямку, вокруг пальцев начинает сочиться вода; тогда ямка

превращается в ров, колодец, родник, потайной канал, ведущий к морю. Пока он думал, что именно выбрать, пальцы, не оставившие своего занятия в воде, сомкнулись на чем-то твердом — на реальном и весомом предмете, который он понемногу сдвинул с места и вытащил. Под налипшим песком проглянула зеленая поверхность. Он стер песок. Это был кусок стекла — толстый, почти непрозрачный. Море полностью сгладило края и уничтожило форму, так что невозможно сказать, чем он был в прошлом: бутылкой, стаканом или окном; теперь это только стекло, почти драгоценный камень. Стоит лишь заключить его в золотую оправу или надеть на тонкую проволоку, и он превратится в драгоценность — часть ожерелья или тускло-зеленый огонь на пальце. А что, если это и в самом деле драгоценный камень? Может, он служил украшением смуглой принцессе, которая сидела, опустив пальцы в воду, на корме галеры и слушала пение рабов, везущих ее через залив? Или расколосся, упав на дно, дубовый сундук с сокровищами елизаветинских пиратов, и — столетиями перекатываясь по камням — изумруды выкатились, наконец, на берег. Джон повернул стекло, посмотрел сквозь него на свет, поднял его так, что в бесформенной массе расплылся торс и вытянутая правая рука его друга. Зеленый цвет чуть светлел или стусался в зависимости от того, что было позади — небо или Чарльз. Джону это нравилось; он был удивлен; предмет в его руке был такой твердый, такой плотный и отчетливый в сравнении с непонятным морем и туманным берегом.

Внезапно он услышал вздох — глубокий вздох, свидетельствующий о том, что его друг Чарльз перекидал все плоские камешки, до каких мог дотянуться, или же решил, что это занятие бессмысленно. Сидя бок о бок, они развернули и съели свои бутерброды. Когда они, отряхиваясь, вставали, Джон взял стекло и молча посмотрел на него. Чарльз тоже посмотрел на него. Он, однако, немедленно увидел, что стекло не плоское; набивая трубку, он сказал с особой энергичностью, которой отгоняют странные мимолетные настроения:

— Так вот, если ты помнишь, о чем я говорил...

Он не видел, а если бы и видел, то не придал бы никакого значения тому, что Джон, посмотрев как бы в некотором сомнении на кусок стекла, сунул его в карман. Это действие было, возможно, сродни тому порыву, что побуждает ребенка поднять один камешек на тропинке, усеянной камнями, и возвысить его до теплой и безопасной жизни на каминной доске в детской, упиваясь при этом чувством власти и милосердия и полагая, что сердечко камня заходится от счастья, от сладостного сознания, что его выбрали для блаженства из миллиона таких же камней, обреченных на безрадостное существование в холоде и сырости. «На моем месте могли бы быть миллионы других, а оказался я, я, я!»

Эта ли мысль или другая увлекла Джона, но стекло заняло-таки место на каминной доске, поверх стопки писем и счетов, где служило отличным пресс-папье и естественным образом притягивало взгляд молодого человека, когда глаза его блуждали по комнате, оторвавшись от книги. Когда мы часто устремляем на какой-нибудь предмет бессознательный взгляд, думая о чем-то другом, то предмет этот глубоко врастает в ткань наших мыслей и теряет реальные очертания, приобретая новую, идеальную форму, порой всплывающую в сознании в самые неожиданные минуты. Вот так и Джона теперь безотчетно тянуло к витринам антикварных лавок, когда он выходил прогуляться, просто потому, что ему виделось нечто, напоминающее кусок зеленого стекла: все что угодно, любой предмет, более или менее круглый и, возможно, с глубоко запрятанным мерцающим огоньком — фарфор, стекло, янтарь, гранит, мрамор, даже гладкое овальное яйцо доисторической птицы. Он также приобрел привычку внимательно смотреть под ноги, в особенности на пустырях — там, где выбрасывают всякие ненужные вещи. В этих местах нередко встречаются подобные предметы — бесполезные, бесформенные, всеми забытые. За несколько месяцев он собрал четыре-пять образчиков, занявших почетное место на каминной доске. Они к тому же годились для дела, ибо у кандидата в парламент, гото-

вящегося сделать блестящую карьеру, есть масса всевозможных бумаг, которые надлежит содержать в порядке: послания к избирателям, проекты программы, просьбы о пожертвованиях, приглашения на званные обеды и так далее.

Однажды, выйдя из своей квартиры в Темпле и собираясь на вокзал, откуда он должен был ехать на встречу с избирателями, он вдруг заметил на одном из тех узких газончиков, что окаймляют массивные здания юридических корпораций, едва выступающий из травы удивительный предмет. Он мог лишь дотянуться до него кончиком трости сквозь чугунную ограду. Было очевидно, что это кусок фарфора изумительной формы — что-то вроде морской звезды; через траву проглядывали несомненные пятиконечные очертания, то ли созданные намеренно, то ли получившиеся случайно, когда что-то разбилось. Окраска была главным образом голубая, но поверх голубого фона пролегли зеленые полосы или пятна и темно-красные линии, сообщавшие вещи замечательный теплый колорит. Джон твердо решил стать обладателем этого сокровища, но чем больше он тыкал тростью, тем дальше оно отодвигалось. В конце концов ему пришлось вернуться в свою квартиру и соорудить примитивный инструмент в виде палки с проволочным кольцом, с помощью которого, путем больших стараний и ухищрений, он сумел-таки подтянуть заветный обломок поближе к ограде. Когда он наконец взял вещь в руки, у него вырвалось победное восклицание, и в это самое мгновение раздался бой часов. Он понял, что ему ни за что не успеть на поезд. Встреча с избирателями прошла без него. Но как могло получиться, что фарфор, разбившись, приобрел именно такую форму? Тщательный осмотр снял все сомнения: пятиконечная форма образовалась случайно, и тем более странно, что существует такой предмет, и уж совсем маловероятно, что в целом мире есть что-либо подобное. Водруженный на противоположном конце каминной доски от зеленого осколка, найденного на пляже, новый трофей казался чем-то неземным, пестрым и загадочным, как фантастический арлекин. Казалось, он танцует один в бес-

конечном пространстве, как мигающая звезда. Джона поражал контраст между живым и ярким фарфором и немым, задумчивым стеклом; он в изумлении спрашивал себя, как это возможно, чтобы два таких предмета существовали в одной вселенной, да что там — в одной комнате, на одной узкой мраморной доске. Вопрос оставался без ответа.

Он начал проводить все больше времени там, где попадается битый фарфор, — на пустырях, что тянутся вдоль железных дорог, у снесенных домов и на пустопорожних землях у лондонских окраин. Но мало кто бросает фарфор с большой высоты. Для этого требуется редкое совпадение обстоятельств: очень высокий дом и женщина достаточно пылкого и необузданного нрава, чтобы запустить фарфоровой вазой или сахарницей прямо в окно, не думая о прохожих. Битого фарфора было сколько угодно, но преобладали жалкие неинтересные осколки, начисто лишенные характера и индивидуальности. Однако, углубляясь в изучение вопроса, он все больше поражался бесконечному разнообразию форм, обнаруживаемых в одном только Лондоне, и предавался долгим размышлениям о богатстве фактур и орнаментов. Самые интересные предметы он относил домой и устанавливал на каминной доске, хотя роль их, надо сказать, становилась все более декоративной, ибо количество деловых бумаг убывало на глазах.

Он пренебрегал своими обязанностями или же выполнял их слишком равнодушно, а может, избирателей, которые бывали у него, шокировал вид его каминной доски. Так или иначе, он не прошел в парламент, но когда его друг Чарльз, принявший это поражение близко к сердцу, поспешил изъявить свое сочувствие, он нашел Джона в отличном расположении духа и вынужден был заключить, что бедняга просто еще не осознал всю серьезность случившегося.

А дело в том, что Джон побывал в тот день на Барнской пустоши неподалеку от Лондона и нашел под кустом утесника изумительный железный обломок. Он был почти такой же формы, как зеленое стекло — массивный и округлый, но такой тяжелый, черный и холодный, что Джон был уверен

в его неземном происхождении: это либо осколок погасшей звезды, либо частица испепеленной планеты. Он оттягивал карман; даже каминная доска, казалось, прогибалась под его тяжестью; от него веяло космическим холодом. И все же этот метеорит стоял теперь здесь, совсем близко от зеленого стекла и фарфоровой звезды.

Переводя взгляд с одного предмета на другой, молодой человек испытывал мучительное, неодолимое желание обладать еще более чудесными сокровищами. Теперь он почти все силы отдавал поискам. Если бы не жгучая жажда новых находок и не твердое убеждение, что однажды какая-нибудь свалка щедро вознаградит его, то от бесконечных разочарований, не говоря уж об усталости и насмешках, у него бы опустились руки. Вооружившись сумкой и палкой с раздвижным крюком на конце, он исследовал земляные кучи, шарил в зарослях кустарника; прочесывал узкие тропинки и проходы между стенами, где, как он знал по опыту, попадают выброшенные предметы. Его требования повысились, и вкус стал более изощрен, а следовательно, участились разочарования, но всегда какой-нибудь проблеск надежды — какой-нибудь причудливый осколок стекла или фарфора — манил его в неизведанную даль. Проходил день за днем. Он был уже немолод. Его карьера — то есть его политическая карьера — осталась в прошлом. Знакомые перестали навещать его. Он был так молчалив, что было бы бессмысленно приглашать его на обед. Он никогда не говорил о своих подлинных устремлениях; по поведению окружающих было ясно, что они его не поймут.

Теперь он сидел, откинувшись на спинку кресла, и смотрел, как Чарльз, сам того не замечая, поднимает один за другим камни с каминной доски и резко ставит их на место, чтобы придать больший вес своим словам о политике правительства.

— В чем была настоящая причина, Джон? — неожиданно спросил Чарльз, повернувшись к нему. — Почему ты все бросил? Почему у тебя вот так сразу опустились руки?

— У меня не опустились руки, — ответил Джон.



— Но теперь-то у тебя нет никакой надежды,— отрезал Чарльз.

— Вот тут я с тобой не согласен! — возразил Джон, и в голосе его прозвучала убежденность.

Чарльз посмотрел на него, и ему стало не по себе; в голову полезли чудовищные сомнения; у него было такое чувство, что они говорят о разных вещах. Пытаясь как-то развеять ужасное, гнетущее настроение, он огляделся, но царивший в комнате беспорядок еще больше расстроил его. Что это за палка и какая-то старая сумка на гвозде? А эти камни? Он снова посмотрел на Джона и застиг пристальный и невидящий взгляд, устремленный вдаль. Совершенно ясно, что его нельзя даже выпустить на трибуну.

— Красивые камешки,— бодро произнес Чарльз и, славшись на деловое свидание, покинул Джона — навсегда.

## Женщина в зеркале

### *Отражение*

Не следовало бы оставлять висящие на стенах зеркала, как не следует оставлять без присмотра открытую чековую книжку или письмо с признанием в гнусном злодействе. В тот летний день взгляд невольно тянулся к высокому зеркалу, висевшему в холле. Так распорядился случай. Из глубины дивана в гостиной был отлично виден не только отраженный в итальянском зеркале мраморный стол прямо перед ним, но и кусок сада. Видна была длинная зеленая дорожка, окаймленная бордюрами из высоких цветов, уводившая куда-то за пределы рассекавшей ее наискосок золоченой рамы.

Дом был пуст, и сознание, что, кроме тебя, в гостиной никого нет, внушало ощущение, знакомое, наверное, натуралистам, когда они, накрывшись сеткой из травы и листьев, став незримыми, наблюдают самых пугливых зверей

и птиц — барсуков, выдр, зимородков, без стеснения разгуливающих на воле. В тот день комната была полна этих пугливых созданий, игры теней и света, в которой взлетают занавески, опадают лепестки, что случается, только когда никто этого не видит. Тихая комната в старом загородном доме, комната с коврами и каменными каминами, встроенными книжными полками и красными с золотом лакированными шкафчиками, была полна таких прозрачных созданий. В легком танце они перебегали из угла в угол, грациозно выступали, поднимая лапки и распутив хвосты, — словно что-то клевали — как цапли, или стайки нарядных фламинго, на которых розовые краски слиняли, или павлины с хвостами в прозрачных серебряных чехлах. И что-то вдруг затемнялось, словно каракатица выбрасывала облачко лиловой жидкости; и комнату, как живого человека, раздирали страсти и печали, взрывы гнева и зависти. С каждой секундой в ней что-нибудь да менялось.

А за дверью отраженный в зеркале мраморный стол, подсолнухи, дорожка в саду были так отчетливы и неподвижны, что казалось, реальность их ненарушима. Станный это был контраст — здесь все непрерывно меняется, там все застыло. Взгляд невольно обращался то туда, то сюда. А все окна и двери в доме были открыты из-за жары, и поэтому дом наполнился вздохами, словно все скоротечное и преходящее обрело голос, и голос этот то шелестел, то замирал, как человеческое дыхание, тогда как в зеркале все затаило дух и замерло в блаженстве бессмертия.

Полчаса тому назад хозяйка дома Изабелла Тайсон в легком летнем платье и с корзинкой в руке ушла по зеленой дорожке и исчезла из глаз, отсеченная золоченой рамой зеркала. Очевидно, она направилась в нижний сад нарвать цветов; или, что более вероятно, набрать чего-то невесомого, причудливого, раскидисто-зеленого — такого, как ломонос или изящные побеги вьюнка, что оплетают грубые стены и вспыхивают там и сям яркими пятнами фиолетово-белых колокольцев. С ней вязалось что-то причудливое — скорее дрожащий вьюнок, чем прямая, как палочка, астра,

или жеманная цинния, или даже розы, фонарями горящие на кольях ее же любимых шпалер. Сравнение это показывало, как мало мы о ней знали, после стольких-то лет; ибо на самом деле женщина из плоти и крови в пятьдесят пять, а то и шестьдесят лет не может быть ни зеленым побегом, ни усиком. Такие сравнения мало того, что ничемны и поверхностны, они еще и жестоки, потому что, дрожа и колеблясь не хуже вьюнка, скрывают от нас правду. А правда необходима; как необходима стена. И все же странно, что, зная Изабеллу столько лет, невозможно было сказать, что о ней правда, а что фантазия; мы все еще отделялись фразами вроде этой, насчет вьюнка и ломоноса. Всем известные факты были наперечет: было известно, что она старая дева; что она богата; что она купила этот дом и без чьей-либо помощи — часто забираясь в самые глухие уголки земли и рискуя подхватить какую-нибудь восточную болезнь или уколоться о ядовитые шипы — собрала все эти ковры, и стулья, и шкафчики, что вели теперь у нас на глазах свое призрачное существование. Порой казалось, что им известно о ней больше, чем дозволено узнать нам, хоть мы и сидели на них, писали за ними и осторожно по ним ступали. В этих шкафчиках было много маленьких ящичков, а в ящичках наверняка хранились письма, перевязанные лентами, надушенные лавандой и лепестками роз. Ибо вот и еще факт, если уж требуются факты: в прошлом Изабелла много с кем общалась, у нее было много друзей; и тот, у кого хватило бы дерзости выдвинуть ящик и прочесть ее письма, нашел бы там следы многих треволений: назначенные свидания, сетования на то, что свидания не состоялись, длинные письма с выражением нежных чувств, резкие письма, полные ревности и упреков, страшные слова окончательного расставания — ведь все эти встречи и объяснения не привели ни к чему, она так и не вышла замуж, а между тем, судя по равнодушному, как маска, выражению ее лица, она знала, что такое опыт и страсть, в двадцать раз лучше, чем женщины, о чьих романах слышали и толковали все кому не лень. Под влиянием этих мыслей об Изабелле ком-

ната ее заволокла тенью и иносказаниями; углы стали казаться темнее, ножки столов и стульев более хрупкими и замысловатыми.

Внезапно эти раздумья были прерваны резко, хоть и бесшумно. В зеркало заглянул кто-то большой и черный, заслонил собой все вокруг, высыпал на стол кучку мраморных табличек в розовых и серых прожилках и исчез. Но вся картина успела измениться. Какое-то время она казалась неузнаваемой, бессмысленной, не в фокусе. Эти таблички не вмещались ни в какую человеческую ситуацию. Потом некий логический процесс начал вбирать их в себя, распрямляться ими и пристраивать их на место в общей сумме опыта. И, наконец, до сознания дошло, что это просто-напросто письма. Приходил лакей и принес почту.

Они лежали на мраморном столе, сначала сочась светом и красками, ни с чем не сливаясь. А потом стало видно, как они, точно по волшебству, втягиваются, и располагаются, и становятся частью общей картины, и получают свою долю той неподвижности и бессмертия, которые дарило зеркало. Теперь они словно приобрели новую реальность и значение, а заодно и стали тяжелее, словно только с помощью резца их и можно было бы отделить от стола. И пусть то была фантазия, но казалось, что из пачки заурядных писем они превратились в скрижали, на которых начертана вечная правда, что, прочитав их, узнаешь об Изабелле все, что стоит о ней узнать, да и не только о ней, но и о жизни. Листки в этих мраморных на вид конвертах наверняка исписаны, густо и с подчеркиваниями, сплошь очень важными вещами. Изабелла войдет, станет медленно брать их в руки одно за другим, распечатывать и внимательно прочитывать слово за словом, а потом с глубоким, все понимающим вздохом, словно заглянув на самое дно познания, разорвет конверты на мелкие кусочки, а письма свяжет в пачку и запрет в ящик в одном из шкафчиков, твердо решив утаить то, о чем она не считает нужным никому рассказывать.

Эта мысль послужила как бы вызовом. Изабелла не считала нужным рассказывать о себе, но теперь ей от этого не

уйти. Это нелепо, это чудовишно. Раз она столько утаивает и столько знает, значит, надо вскрыть ее первым попавшимся инструментом — воображением. Надо без промедления сосредоточить на ней все помыслы. Не дать ей ускользнуть. Не дать, как раньше, отвлекать тебя случайными мелочами — обедами, гостями и светскими разговорами. Надо поставить себя на ее место. Легко себе представить, как она стоит сейчас в нижнем саду. На ней длинные модные туфли из самой мягкой, самой эластичной кожи. Безупречные, как все, что она носит. И стоит она у высокой изгороди нижнего сада, подняв привязанные к поясу ножницы, чтобы срезать какой-нибудь увядший цветок, какую-нибудь слишком вытянувшуюся ветку. Солнце светит ей в лицо, бьет в глаза; но нет, в последнюю минуту набежало облачко, и выражение ее глаз стало непонятным — насмешливым или ласковым, задумчивым или открытым? Виден только расплывчатый контур ее немного увядшего красивого лица, обращенного к небу. Возможно, она думает о том, что надо заказать новую сетку — покрывать грядки с клубникой; что надо послать цветов вдове Джонсона; что пора съездить на новоселье к Хипслеям. О таких вещах она, во всяком случае, говорит за обедом. Но вещи, о которых она говорит за обедом, — это неинтересно. Хочется другого — уловить и облечь в слова состояние, которое для ее души то же, что для тела дыхание, что называют счастьем или несчастьем. Едва возникли эти слова, как стало ясно, что она, конечно же, счастлива. Она богата; она известна в своем кругу, у нее много друзей; она путешествует — покупает ковры в Турции, синие вазы в Персии. Дороги наслаждений разбегаются во все стороны от того места, где она стоит, подняв ножницы, чтобы срезать трепещущие ветки, а кружевные тучки бросают на ее лицо прозрачную тень.

Тут она быстрым движением перерезала несколько стеблей ломоноса, и они упали наземь. И когда они упали, конечно же, прибавилось света, конечно же, стало возможно немножко глубже проникнуть в ее сущность. Душа ее сейчас полна нежности и сожалений... Срезать лишнюю ветку так

жалко, ведь она живая, а жизнь — это самое дорогое. Да, и в то же время падающая ветка — это напоминание о том, что и ты умрешь и все на свете непрочно, эфемерно. И тут же, оттолкнувшись от этой мысли, она с присущим ей здравомыслием подумала, что жизнь обошлась с ней милостиво; хоть смерть и неизбежна, ей сладко будет растянуться на земле и, разрушаясь, смешаться с корнями фиалок. Она стоит и думает. Не облакая ни одной мысли в слова — потому что она из тех сдержанных натур, что предпочитают обволакивать свои мысли молчанием,— она чувствует, что душа ее полна мыслей. Душа ее — как эта ее комната, где тени мечутся туда-сюда в легком танце, грациозно движутся, распустив хвосты, что-то клюют на ходу; и все ее существо, опять же как комната, тонет в тумане глубокого знания, немых сожалений, и сама она подобна запертым ящичкам, набитым письмами. Говорить о том, чтобы «вскрыть ее», точно она устрица, грешно и нелепо. Тут годится лишь самый тонкий, острый, гибкий инструмент. Надо просто вообразить... Да вон она сама, в зеркале. Ты испуганно вздрагиваешь.

Сначала она была так далеко, что и не разглядеть толком. Она замедляла шаги — то поправит розу на колышке, то поднимет и понюхает гвоздику,— но шла не останавливаясь и все вырастала в зеркале, становилась все больше той, в чью душу так хотелось проникнуть. Шаг за шагом шла и проверка — приспособление обнаруженных в ней качеств к ее теперь зримому облику. Вот ее серо-зеленое платье, и узкие туфли, и корзинка, и что-то поблескивает на груди. Она приближалась так постепенно, что казалось — она не разбивает картины, отраженной в зеркале, а только вносит в нее какое-то новое настроение, которое незаметно изменяет и другие предметы, словно вежливо просит их посторониться. И письма на столе, и зеленая дорожка, и подсолнухи, поджидавшие ее в зеркале, словно расступались, принимая ее в свое общество. Наконец вот она и здесь, в холле. Остановилась. Стоит у стола. Совершенно неподвижно. И зеркало сразу стало заливать ее светом, который словно при-

гвоздил ее к месту, который, подобно кислоте, съедал все несущественное и лишнее, оставляя неприкосновенной только правду. Это было захватывающее зрелище. Все спало с нее — облачко, платье, корзинка, брильянт, все, что подходило под определение вьюнка и ломоноса. Вот и жесткая стена, которую они оплетали. Вот и сама женщина. Стоит обнаженная в этом безжалостном свете. И ничего не осталось. Изабелла пуста. Нет у нее мыслей. И нет друзей. Она никого не любит. А письма? Одни счета. Вон она стоит — старая, исхудавшая, жилистая, прямой нос, морщинистая шея — и даже не дает себе труда взять их в руки.

Не следовало бы оставлять без присмотра висящие на стенах зеркала.

## Люби ближнего своего

В тот день Прикетт Эллис, рысцой пересекая Динз-Ярд, нос к носу встретился с Ричардом Дэллоузем, вернее сказать — в ту секунду, когда они разминулись, взгляд одного, незаметно брошенный на другого через плечо, из-под шляпы, оживился, и в нем блеснуло узнавание; они не виделись двадцать лет. Они вместе учились в школе. А что подельывает Эллис теперь? Юристом? Да, конечно, конечно, — он следил за этим процессом по газетам. Но здесь разговаривать неудобно. Может, он заглянет к ним нынче вечером. (Они живут все там же, в двух шагах, за углом.) Будет кое-кто из друзей. Может быть, Джойнсон. «Он теперь важная птица», — добавил Ричард.

— Вот и отлично, значит, до вечера, — сказал Ричард на прощание, — очень рад. — Он и правда был рад, что встретил этого чудака, ничуть не изменившегося со школьных лет: тот же круглолицый нескладный мальчик, весь утыканный предрассудками, но учился блестяще — получил премию Ньюкасл. Вот так-то, думал Ричард, шагая к дому.

А Прикетт Эллис, оглянувшись на его удаляющуюся фигу-

ру, пожалел, что встретил его, вернее (потому что лично Дэллоуэй всегда ему нравился) — что обещал прийти на этот званый вечер. Дэллоуэй женат, устраивает приемы, совсем это не в его вкусе. И костюма приличного нет. Но время шло, и становилось все яснее, что раз он обещал и не хочет поступить грубо, то идти придется.

Но что за жуткое сборище! Джойнсон и правда явился, но сказать им друг другу было нечего. Он и мальчиком важничал, а теперь и подавно возомнил о себе — ничего интересного; а больше ни с кем из гостей Прикетт Эллис не был знаком. Но сразу уйти нельзя, надо хоть перекинуться словом с Дэллоуэем, а тот, поглощенный хозяйскими обязанностями, мельтешит среди гостей в своем белом жилете, вот и изволь стоять столбом и ждать. Просто с души воротит. Подумать, что взрослые люди, сознательные мужчины и женщины, проводят так чуть ли не все вечера! На его иссиня-красных бритых щеках пролегли морщины, и он стоял в гробовом молчании, прислонившись к стене. Он работал как лошадь, но много двигался, чтобы сохранить форму, и вид у него был крепкий и решительный, усы словно тронуты морозом. Но сейчас он досадовал, злился и в своем плохоньком вечернем костюме сам выглядел неряшливым, неказистым, нескладным.

Праздные, разодетые, без единой мысли в голове, эти важные дамы и господа без умолку болтали и смеялись; а Прикетт Эллис поглядывал на них и мысленно сравнивал их с Браннерами — те, когда выиграла тяжбу с пивоваренным заводом Феннеров и получили двести фунтов компенсации (а должны бы были получить вдвое больше), не пожалели истратить пять фунтов из этой суммы, чтобы купить часы ему в подарок. Это было с их стороны так порядочно, вот такие поступки не оставляют равнодушным, и он еще строже воззрился на этих людей, разодетых, процветающих, пресыщенных, и сравнил свои чувства с теми, которые испытал в то утро, в одиннадцать часов, когда старик Браннер и миссис Браннер, оба принарядившиеся, до крайности чистенькая и почтенная пара, явились к нему на дом, чтобы



вручить ему, как выразился старик, вытянувшись в струнку ради столь торжественного случая, «этот скромный знак признательности и уважения за то, как искусно вы провели наше дело», и миссис Браннер подхватила: да, они оба чувствуют — если бы не его помощь, ничего бы не вышло. И они так ценят его великодушие — потому что гонорара он с них, конечно, не взял.

Когда он принял от них часы и водружал их на каминную полку, ему не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел его лицо. Ведь ради этого он и работал, это и было его вознаграждением; и вот сейчас он смотрит на реальных людей, и ему кажется, что они накладываются на ту утреннюю сцену у него в квартире, и это самый суровый им приговор, а когда та сцена померкла и растаяла — когда Браннеры растаяли, — от всей сцены остался только он сам, лицом к лицу с людьми из враждебного лагеря, — простой немудрящий человек, человек из народа (он приосанился), очень плохо одетый, сердитый, неотесанный, человек, не умеющий скрывать свои чувства, заурядное человеческое существо, простой человек, ополчившийся на зло, продажность и бессердечие общества. Но хватит на них паяться. Он надел очки и стал разглядывать картины. Прочел корешки всех книг на одной из полок — по большей части стихи. Хорошо бы перечитать старых любимцев, Шекспира, Диккенса. Хорошо бы выкроить время и побывать в Национальной галерее, но нет, куда там. Куда там, когда в мире творится такое. Когда людям с утра до ночи нужна твоя помощь, когда они прямо-таки зывают о помощи. Не такое сейчас время, чтобы позволять себе всякие излишества. И он окинул взглядом кресла, разрезальные ножи, книги в изящных переплетах и покачал головой, зная, что у него никогда не хватит времени, никогда (надо надеяться) не хватит духу позволить себе такие излишества. Эти господа были бы шокированы, узнай они, сколько он платит за табак; что костюм на нем с чужого плеча. Единственная роскошь, от которой он был не в силах отказаться, — маленькая яхта на Норфолкских озерах. Да, в этом он грешен. Раз

в год отключиться от всех на свете и полежать на траве, глядя в небо. Ему подумалось, как они были бы шокированы, эти важные господа, если б узнали, сколько радости доставляло ему то, что он по старинке называл любовью к природе, — поля и деревья, знакомые с детских лет.

Эти важные господа были бы шокированы. И сейчас, убирая очки обратно в карман, он чувствовал, что с каждой секундой шокирует их все больше. И это было очень неприятное ощущение. И свою любовь к человечеству, и то, что покупает табак по пяти пенсов унция, и любит природу, он не мог ощущать спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Каждое из этих удовольствий как бы обратилось в протест. Словно эти люди, которых он презирает, заставили его в чем-то оправдываться. Я человек простой, твердил он про себя. И еще сказал то, чего тут же не на шутку устыдился, но все же сказал: «Я за один день сделал для моих ближних больше, чем вы за всю вашу жизнь». И это он действительно чувствовал; одна за другой вспоминались сцены, подобные сегодняшней, как Браннеры поднесли ему часы; вспоминались добрые слова, которые люди говорили о его гуманности, его великодушии, о том, как он им помог. Он упорно виделся сам себе как мудрый и терпимый слуга человечества. И жалел, что не может повторить эти похвалы вслух. Неприятно было ощущать, как праведность буквально клокочет в нем, ища выхода. Еще неприятнее было, что никому нельзя рассказать, как о нем отзывались люди. Благодарение богу, твердил он про себя, завтра я возвращаюсь к работе; а между тем просто улизнуть в холл и уйти домой уже казалось ему недостаточным. Он должен побыть здесь еще, побыть, пока не оправдается. Но как это сделать? Во всей этой комнате, полной людей, он ни с кем не знаком, а значит, и поговорить не с кем.

Наконец к нему подошел Ричард Дэллоуэй.

— Хочу познакомить тебя с мисс О'Киф, — сказал он. Мисс О'Киф посмотрела ему прямо в глаза. Это была самоуверенная на вид, с резкими манерами женщина лет тридцати с лишним.

Мисс О'Киф попросила принести ей мороженого или чего-нибудь попить. А обратилась она к Прикетту Эллису таким, по его мнению, непростительно надменным тоном, потому что в тот день, в самую жару, видела, как женщина с двумя детьми, очень бедная, очень усталая, прижавшись лицом к решетке, заглядывала в частный скверик. Неужели нельзя их впустить? — подумала она тогда, и жалость поднялась в ней волной и сменилась бурным негодованием. Нет, ответила она себе в следующую секунду, ответила грубо, словно самой себе дала пощечину. Никакие силы в мире этого не допустят. И, подняв теннисный мяч, перекинула его им через ограду. Никакие силы в мире не допустят, произнесла она с яростью и по этой-то причине так высокомерно приказала незнакомому мужчине:

— Принесите мне мороженого.

Еще задолго до того, как она его съела, Прикетт Эллис, стоя возле ее стула, сообщил ей, что не бывал на званых вечерах лет пятнадцать, что костюм ему одолжил на вечер муж сестры; что такое времяпрепровождение не в его вкусе; и с радостью сообщил бы, что он человек простой и предпочитает людей самых обыкновенных, а потом рассказал бы (и сразу же устыдился бы этого) про Браннеров и про часы, но она перебила его вопросом:

— Вы «Бюрю» смотрели? — А узнав, что нет, читал ли он такую-то книгу. Снова услышала «нет», и тогда, оставив блюдечко с мороженым, — он что, вообще не любит поэзию?

И Прикетт Эллис, чувствуя, как в нем нарастает нечто такое, что сбило бы спесь с этой молодой женщины, сделало бы из нее жертву, разбило ее наголову, заставил ее сесть рядом с ним, вот здесь, где им никто не помешает, на стул в пустом садике, потому что все были наверху, но и сюда доносилось жужжание, гудение, и голоса, и пошвякивание, как безумный аккомпанемент призрачного оркестра мяуканью кошек, пробирающихся по траве, и шелесту листьев, и желто-красным плодам, раскачивающимся туда-сюда, как китайские фонарики, и разговор их был

как музыка к пляске смерти, написанная безумцем на очень реальную, глубоко выстраданную тему.

— Как красиво! — сказала мисс О'Киф.

Да, какая прелесть после гостиний — эта маленькая лужайка, а вокруг нее — башни Вестминстера, черные, словно повисшие в воздухе, и тишина после шума в доме! И этим могут насладиться все — та усталая женщина, дети.

Прикетт Эллис стал закуривать трубку. Это, наверное, покажется ей неприличным. Он набил трубку дешевым табаком — пять с половиной пенсов унция. Подумал, как будет лежать в своей лодке и курить, уже видел себя ночью, как он в полном одиночестве курит под звездами. Весь сегодняшний вечер он думал о том, как он выглядел бы в глазах этих людей. И, чиркнув спичкой о подошву башмака, он сказал мисс О'Киф, что не видит здесь ничего особенно красивого.

— Возможно, вы вообще невосприимчивы к красоте, — возразила мисс О'Киф (ведь он сказал ей, что не смотрел «Бурю», не читал такую-то книгу, он и выглядел неряшливо — эти усы, подбородок, серебряная цепочка от часов). И подумала: за это и платить не надо. Ходи в музеи, в Национальную галерею, любуйся деревенскими видами — все бесплатно. Конечно, она знала и аргументы против: стирка, готовка, дети; но самое главное, только все боятся сказать это вслух, состоит в том, что счастье дешевле пареной репы. Его можно получить и задаром. Его дарит красота.

И тут Прикетт Эллис задал ей жару, этой бледной, резкой, высокомерной женщине. Попыхивая дешевым табаком, он перечислил ей все, что сделал за этот день. Встал в шесть часов; принимал клиентов; инспектировал канализацию в зловонных трущобах; потом — в суд.

Тут он едва удержался, чтобы не рассказать ей кое-что о личных своих достижениях. Однако удержался, но от этого продолжал еще более язвительно. Сказал, что ему тошно слушать, как упитанные, разодетые женщины рассуждают о красоте (она поджала губы, потому что была

худая и платье на ней было не самое модное).

— Красота! — сказал он. Для него красота не мыслится в отрыве от живых людей.

И оба сердито усталились на безлюдный садик, где плясали тени и одна из кошек застыла посреди лужайки, подняв лапу.

— Красота в отрыве от живых людей? Как это понимать? — спросила она после недолгого молчания.

А вот как. И он, все больше распаясь, рассказал ей про Браннеров и про часы, не стараясь скрыть, что гордится собственной ролью в этой истории.— Вот это было красиво,— сказал он.

Его рассказ поверг ее в неопишуемый ужас. Прежде всего — какое самомнение, а кроме того, это непристойно; как можно говорить вслух о человеческих чувствах; это кощунство, никому не дано право рассказывать какие-то истории в доказательство своей любви к ближним. А между тем, пока он рассказывал — как старик вытянулся в струнку и произнес свою речь,— у нее слезы выступили на глазах. Ах, если бы кто-нибудь хоть раз в жизни сказал ей такие слова! Но опять же вот это и доказывает, что люди безнадежны: никогда они не пойдут дальше трогательных сцен с часами; Браннеры будут произносить речи в похвалу Прикеттам Эллисам, а Прикетты Эллисы — толковать о том, как любят своих ближних. И всегда будут лениться, идти на компромиссы и бояться красоты. Это и порождает революции: лень, и страх, и любовь к трогательным сценам. И все-таки этот человек получил удовольствие от своих Браннеров, а она обречена без конца страдать из-за тех бедных, бедных женщин, которым закрыт доступ в частные скверы. Оба молчали. У обоих было тяжело на душе. Ибо собственные слова не принесли Прикетту Эллису никакого облегчения: занозу, которой она его уязвила, он не извлек, а только загнал внутрь. Счастье, испытанное утром, разрушено. А у мисс О'Киф была в мыслях полная путаница, вместо ясности — муть и досада.

— Я, очевидно, принадлежу к числу тех очень обыкновен-

ных людей, которые любят своих ближних,— сказал он, вставая.

На что мисс О'Киф отозвалась чуть ли не криком: — Я тоже!

И, ненавидя друг друга, ненавидя гостей и хозяев этого дома, по чьей милости они провели такой тягостный, такой расхолаживающий вечер, эти двое, преисполненные любви к своим ближним, встали с места и без единого слова расстались — навсегда.

## Предки

Взявшись было возражать на довольно глупое замечание Джека Рэншоу о том, что он не любитель смотреть крикет, миссис Вэлланс с сожалением почувствовала, что не в силах объяснить ему то, что становилось с каждой минутой все очевиднее на таком вот званом вечере: будь жив ее отец, люди поняли бы, сколь глупо и дурно, нет, скорее, не дурно, а бессмысленно и нелепо,— сколь мелко все это в сравнении с подлинно достойными, естественными людьми, как ее отец, как ее дорогая матушка. Насколько иными были склад его ума и его жизнь; и ее матушка, и она сама; насколько иначе, совершенно иначе она была воспитана.

«Вот мы здесь,— сказала она неожиданно,— сидим в тесном помещении, как в духовке, а у нас в Шотландии, где я родилась, мы...» — она обязана была растолковать этим недалеким молодым людям, в общем-то славным, но мелковатым, что ее отец, ее мать и она сама тоже — ведь в душе она была такой же,— что они чувствовали. Ее вдруг осенило, что ее долг перед этим миром — объяснить людям, насколько ее отец, и ее мать, и она сама тоже были совершенно иными.

Мистер Рэншоу сказал, что как-то провел одну ночь в Эдинбурге.

Он спросил, не шотландка ли она.

Значит, он не знает, кто ее отец, не знает, что она дочь Джона Эллиса Рэтрея и что ее мать — Кэтрин Макдональд; одна ночь в Эдинбурге! Она же провела там все эти чудные годы; там и еще в Эллиотшоу, на границе с Нортамберлендом. Там она бегала на воле среди кустов смородины; туда приходили друзья отца, и там, еще девочкой, она слушала удивительнейшие беседы, каких никогда уж более не доводилось ей слышать. Она видела их словно наяву: отца, сэра Дункана Клементса, мистера Роджерса (старый мистер Роджерс был в ее представлении настоящим древнегреческим мудрецом), сидящих под кедром; после ужина, при свете звезд.

Говорили они обо всем, так ей теперь казалось; они были слишком широки умом и душой, чтобы смеяться над людьми; они научили ее, совсем еще девчушку, поклоняться красоте. А что тут красивого, в этой душевной лондонской гостиной?

«Бедные цветы!» — воскликнула она. Оттого что и вправду несколько гвоздик лежали, растоптанные, на полу, оттого что раздавленные их лепестки были изуродованы. Оттого что она сострадала цветам, быть может, даже чрезмерно. Ее мать любила цветы; с детства ее учили, что нанести увечье цветку — значит надругаться над изысканнейшим творением природы. Природа была ее страстью; горы, море. А здесь, в Лондоне, глянешь в окно и видишь дома, дома... Было жутко оттого, что люди живут втиснутые в нагроможденные друг на друга коробки. Лондон давил ее; а ходить по его улицам и видеть детей было и вовсе невыносимо. Наверное, она слишком чувствительна; будь все, как она, жизнь бы просто остановилась; но когда она вспоминала детство, отца и мать, и красоту, и заботу, ее окружавшие...

«Прелестное платье», — сказал Джек Рэншоу. Вот уж это показалось ей совсем неуместным — чтобы молодой человек да обращал внимание на то, как одета женщина. Ее отец был исполнен почтения к женщинам, однако ему и в голову не приходило замечать, во что они одеты. А все эти девуш-

ки — они, возможно, и хорошенькие, но ни одну из них не назовешь красивой — такой, какой она помнила свою мать, свою дорогую матушку, величественную, всегда, казалось, одетую одинаково, будь то лето или зима, будь у них гости или нет, она всегда была самой собою, в черном платье и кружевах или, когда постарела, в черном платье и скромном чепце. Овдовев, она часами сидела среди своих цветов, скорее с дорогими тенями, чем с нами, погруженная в прошлое, которое, думала миссис Вэлланс, почему-то гораздо реальнее, чем настоящее. Впрочем, что ж тут странного?

Ведь живу же я в прошлом, думала она, среди тех удивительных людей; ведь они меня знали; ведь только они (и она подумала о саде и деревьях в мерцании звезд, о старом мистере Роджерсе и об отце в белом полотняном костюме; они курили), только они меня понимали. Стоя в гостиной миссис Дэллоуэй, глядя на этих людей, на эти цветы, на шумную, пеструю, болтливую толпу, на себя, маленькую девочку, которой столько еще предстояло пройти, бегающую по саду, собирающую горичвет, а потом сидящую на кровати в мансарде, пахнувшей сосной, читающую стихи и рассказы, она чувствовала, как увлажняются ее глаза от подступающих слез.

Она прочла всего Шелли в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, и, бывало, держа руки за спиной, читала его наизусть отцу, а он задумчиво смотрел на нее. Где-то глубоко внутри закипали слезы, а она все глядела на этот свой образ, окрашенный страданиями всей последующей жизни (она страдала ужасно, жизнь раздавила ее как колесом, жизнь была не такой, какой тогда представлялась, она была как этот званый вечер), на образ девочки, стоявшей там, читавшей Шелли, глядевшей на мир темными мерцающими глазами. И чего только не предстояло им увидеть!

И только те, кого уж нет, кто покоится в тихой Шотландии, видели, что в ней было заложено; только они ее знали, знали все, что в душе ее было сокрыто. Она думала о девочке в ситцевом платьице, и комок подступал к горлу; какие большие и темные были у нее глаза; какой красивой она



была, когда читала «Оду к западному ветру»; как гордился ею отец, и как благороден он был, и как благородна была ее мать; и она сама, пока она была с ними, была так чиста, хороша, одаренна, что могла бы стать кем угодно, что будь они живы сейчас, и останься она с ними навсегда в том саду (теперь он казался ей единственным местом, где прошло ее детство, там всегда сияли звезды и стояло лето, и они сидели в саду под кедром и курили, и как-то уж так получалось, что мать ее во вдовьем своем чепце была одна и грезила среди цветов; и как хороши, и добры, и почтительны были старые слуги, садовник Эндрюз, повар Джерси; и старая собака, ньюфаундленд Султан; и виноградная лоза, и пруд, и колодец; и...) — миссис Вэлланс с видом гордым, неистовым и язвительным сравнивала свою жизнь с жизнью других, — и если бы та жизнь продолжалась вечно, то, думала миссис Вэлланс, всего этого — и она взглянула на Джека Рэншоу и на девушку, чьим платьем он так восхищался, — не существовало бы вовсе, и она была бы совершенно, о, совершенно счастлива, совершенно покойна и не была бы вынуждена слушать, как молодой человек говорит, — она засмеялась почти презрительно, хотя в глазах ее стояли слезы, — что он не большой любитель смотреть крикет.

## Прожектор

Графский особняк восемнадцатого века в двадцатом веке стал клубом. Поужинав в роскошной зале с колоннами, залитой светом люстр, так приятно выйти на балкон, нависающий над парком. Деревья утопают в густой, сочной листве, и лунный свет мог бы выхватить из темноты розовые и кремовые кисти на ветвях цветущих каштанов. Но вечер был безлунный; очень теплый после чудесного, жаркого летнего дня.

Мистер и миссис Айвими и их гости пили кофе и курили на балконе. Как будто нарочно для их развлечения, чтобы

избавить их от необходимости поддерживать беседу, по небу перекатывались гигантские полосы света. Война еще не началась — просто шли учения войск противовоздушной обороны; прожекторы шарили в небе в поисках самолетов противника. Задержавшись на подозрительном месте, сноп света вновь приходил в движение, подобно крыльям мельницы или усикам фантастического насекомого, внезапно освещая то безжизненный каменный фасад, то каштан во всем великолепии нежных соцветий, а то вдруг ударил прямо по балкону, где на мгновение вспыхнул ослепительный диск — может быть, зеркальце в открытой сумочке одной из дам.

— Смотрите! — воскликнула миссис Айвими.

Свет двинулся дальше. Они снова погрузились во мрак.

— Никогда не догадаетесь, что я увидела! — сказала она. Разумеется, все принялись гадать. — Нет, нет, нет! — остановила их миссис Айвими. Это невозможно отгадать, только она знает, только она может знать, потому что она — правнучка того человека. Он сам ей рассказывал эту историю. Какую историю? Если им интересно, она попытается рассказать. До спектакля есть еще время.

— Но с чего начать? С 1820 года? Тогда мой прадед был мальчиком. Я сама немолода, — это верно, хотя она по-прежнему очень мила и элегантна, — так вот, он был глубоким стариком, а я — ребенком, когда он рассказал мне эту историю. Он был очень красивым стариком, с белыми волосами и голубыми глазами. Он наверняка был прелестным мальчиком. Но странным... Это, впрочем, понятно, — объяснила она, — учитывая их обстоятельства. Их фамилия была Комбер. Они были разорившиеся дворяне; раньше им принадлежали земли в Йоркшире. Но когда мой прадед был мальчиком, осталась только одна башня. Их дом — обыкновенный фермерский дом — стоял один среди полей. Мы туда ездили десять лет тому назад. Пришлось оставить машину и идти пешком через поле. Ни одна дорога к дому не ведет. Вокруг — ничего, трава лезет в самые ворота... По комнатам гуляют куры. Все в полном запустении. Помню, с башни

вдруг сорвался камень.— Она немного помолчала.— Вот там они и жили: старик, женщина и мальчик. Она была не жена старика и не мать мальчика, а просто работница с фермы, которую старик взял к себе жить после смерти жены. Может быть, еще и поэтому у них никогда не бывало гостей, и дом начал разваливаться на глазах. Но помню и семейный герб над дверью. И еще книги — старые, замшелые книги. Всему, что он знал, он научился из книг. Он мне рассказывал, что читал без конца — старые книги, книги с вклеенными картами. Он втаскивал их на башню — даже веревка сохранилась и сломанные ступеньки. У окна все еще стоит стул с провалившимся сиденьем; окно само открывается от ветра, стекло в нем разбито, и видно далеко-далеко.

Она умолкла, словно заглядевшись через распахнутое окно на бескрайнюю вересковую пустошь.

— Но подзорную трубу мы так и не нашли.

В ресторане у них за спиной стучали тарелки. Но здесь, на балконе, миссис Айвими казалась растерянной оттого, что не могла найти подзорную трубу.

— Почему подзорную трубу? — спросил кто-то.

— Почему? Потому что если бы не было подзорной трубы,— рассмеялась она,— я бы тут сейчас не сидела.

А она, без всякого сомнения, тут сидела: элегантная немолодая женщина с голубым платком на плечах.

— Труба была определенно,— вновь заговорила она,— потому что он мне рассказывал, как каждый вечер, после того как старики ложились спать, он садился у окна и смотрел в подзорную трубу на звезды. Юпитер, Альдебаран, Кассиопея.— Она показала рукой на звезды, появившиеся над темным парком. Сумерки сгущались. Проектор теперь казался ярче; он пробегал по ночному небу, время от времени замирая, словно любуясь на звезды.

— Он смотрел на звезды,— продолжала она,— и спрашивал себя — мой прадед, этот мальчик, спрашивал себя: «Что это? Зачем они? И кто я?» — так бывает, когда сидишь один и не с кем поговорить, а над головой звездное небо.

Она замолчала. Все они смотрели на звезды, мерцавшие во мраке над деревьями. Звезды казались вечными, незыблемыми. Гул Лондона стих. Сто лет показались мгновеньем. Мальчик смотрел на звезды вместе с ними. Они были там, на башне, и вглядывались в ночное небо над пустынным ландшафтом.

Внезапно чей-то голос у них за спиной проговорил:

— Совершенно верно. В пятницу.

Они вздрогнули и зашевелились, словно их сбросили вниз и они приземлились опять сюда, на этот балкон.

— Ему-то никто не мог сказать ничего подобного,— тихо произнесла миссис Айвими.

Одна пара поднялась и удалилась.

— *Он* был совсем один,— продолжала она.— Был жаркий летний день. Июньский день. Один из тех дней, когда небо безупречно голубое и все как бы застывает на жаре. Куры что-то клевали на дворе, в конюшне старая лошадь тяжело переступала с ноги на ногу, старик дремал перед недопитым стаканом. Женщина мыла ведра на кухне. Может быть, с башни свалился камень. Казалось, что день никогда не кончится. А ему не с кем было поговорить — и совершенно нечем заняться. Перед ним простирался весь мир. Пустошь вздымалась, и проваливалась, и снова вздымалась навстречу небу: зелень и голубизна, зелень и голубизна, без конца и края.

В полумраке они видели, что миссис Айвими облокотилась на перила и, подперев подбородок руками, вглядывается в вересковые просторы с высоты старой башни.

— Только вереск и небо, вереск и небо, без конца и края,— задумчиво повторила она.

Вдруг она вскинула руки, как будто установила что-то на уровне глаз.

— А как выглядит земля в подзорную трубу? — спросила она.

Она сделала быстрое движение пальцами, словно нетерпеливо что-то повернула.

— Он навел резкость. Он навел резкость, глядя на землю.

Направил трубу на темную полосу леса на горизонте и увидел... каждое дерево... каждое дерево отдельно... и птиц... и столб дыма... там... среди деревьев... А потом... ниже... ниже... (она опустила глаза)... и вот перед ним дом... дом среди деревьев... ферма... отчетливо виден каждый кирпичик... и кадки по обе стороны двери... в них голубые и розовые цветы — похоже, гортензии.— Она немного помолчала.—...Из дома вышла девушка... в голубом платке... и начала кормить птиц... голубей... они прыгали и толкались вокруг нее... А потом... минутку... мужчина... Ну да, мужчина! Он появился из-за дома. Он обнял ее! Они поцеловались... поцеловались.

Миссис Айвими раскрыла руки и сомкнула их, будто целует кого-то.

— Он впервые в жизни видел, как мужчина целует женщину, видел в подзорную трубу — за много миль, на той стороне огромной пустоши!

Она резко что-то оттолкнула — подзорную трубу, должно быть,— и выпрямилась.

— Он сбежал по ступенькам. Он долго-долго бежал по полю, по каким-то тропинкам, потом по дороге. Он пробежал много миль, и когда над деревьями загорелись первые звезды, он выбежал, наконец, к дому... весь потный, в пыли...

Она снова умолкла, словно видела его перед собой.

— Ну а потом, потом... что потом? Что он сказал? А девушка...— теребили ее они.

Внезапно на миссис Айвими упал свет, как будто кто-то навел на нее подзорную трубу. (Это войска противоздушной обороны искали самолеты противника.) Она встала со стула. На голове у нее был голубой платок. Она подняла руку, будто от неожиданности, словно она — удивленная — стоит в дверях.

— Девушка? Это была...— она запнулась, словно хотела сказать «я». Но потом вспомнила и поправилась: — Это была моя прабабка.

Она повернулась, ища глазами свою накидку. Накидка была переброшена через спинку стула.

— Но скажите, как же этот другой мужчина — тот, что вышел из-за дома? — не унимались они.

— Другой мужчина? А, этот...— пробормотала миссис Айвими, нагнувшись и нащупывая накидку на стуле (прожектор уже покинул балкон),— исчез, должно быть. Свет,— добавила она, кутаясь в накидку,— падает лишь на мгновенье.

Прожектор освещал теперь обширный фасад Букингемского дворца. А им пора было в театр.

## Наследство

«Дорогой Сесси Миллер». Гилберт Клендон взял в руки жемчужную брошь, лежавшую в кучке колец и брошек на столике в будуаре его жены, и прочел надпись на карточке: «Дорогой Сесси Миллер, с любовью».

Как это похоже на Анджелу — не забыла даже Сесси Миллер, свою секретаршу. А все-таки странно это, снова подумал Гилберт Клендон, что она оставила все в таком порядке — хоть маленький да подарок для каждой из своих подруг. Словно предчувствовала близкую смерть. Но ведь она была совершенно здорова в то утро, шесть недель назад, когда вышла из дому, а на Пикадилли ступила с тротуара на мостовую и машина переехала ее.

Он подждал Сесси Миллер. Он попросил ее зайти, чувствуя, что, проработав у них столько лет, она имеет право на такой знак внимания. Да, думал он теперь, поджидая ее, странно все-таки, что Анджела оставила все в таком порядке. Всем друзьям было оставлено что-нибудь на память. Все эти кольца, бусы, китайские ларчики — она обожала всякие ларчики и коробочки — кому-то предназначены. А для него каждая из этих вещей связана с воспоминанием. Вот это он сам ей подарил; а это — эмалевый дельфин с глазами-рубинами — привлекло ее внимание в каком-то переулке в Венеции. Она так и накинулась на это сокровище, даже

вскрикнула от восторга. Ему лично она, конечно, ничего не оставила, если не считать дневника. Пятнадцать томиков в зеленых сафьяновых переплетах стояли у него за спиной на ее письменном столе. Все годы, с тех пор как они поженились, она вела дневник. Из-за этого дневника возникали некоторые из их редких... даже не ссор, а размолвок. Когда, войдя в комнату, он заставал ее за этим занятием, она всегда захлопывала книжечку или накрывала ее ладонью. «Нет, нет, нет, — слышался ему ее голос. — После моей смерти... может быть». Вот и оставила ему дневник как его долю наследства. Это было единственное, чем они не делились, когда она была жива. Но ему и в голову не приходило, что он переживет ее. Если б она тогда хоть секунду подумала о том, что делает, она и сейчас была бы жива. Но она прямо с ходу ступила на мостовую — так показал шофер на дознании. Когда же тут было тормозить... Мысли его прервал шум голосов в передней.

— Мисс Миллер, сэ, — доложила горничная.

Она вошла. Никогда еще он не бывал с ней наедине и, конечно, никогда не видел ее в слезах. Страшно расстроена, да и немудрено. Анджела не только давала ей заработок, она была другом. Сам-то он, думал Гилберт Клендон, поддвигая ей кресло, едва отличил бы ее от любой другой женщины ее круга. Таких Сесси Миллер тысячи — невзрачные маленькие женщины в черном, с портфелями. Но Анджела с ее даром отзывчивости обнаружила в Сесси Миллер неоценимые достоинства. Сама деликатность; такая сдержанная; надежная, ей все-все можно рассказать и т. д.

Сначала мисс Миллер вообще не могла говорить. Сидела, прикладывая к глазам платок. Потом, сделав над собой усилие, сказала:

— Простите, мистер Клендон.

Он что-то пробормотал. Разумеется. Это так понятно. Он представляет себе, что значила для нее его жена.

— Мне здесь было так хорошо, — сказала она, оглядывая комнату. Взгляд ее задержался на письменном столе у него

за спиной. Здесь они вместе работали, она и Андже́ла. Ведь и Андже́ла, как жена видного политического деятеля, несла свою долю обязанностей. В его карьере она была ему главной помощницей. Сколько раз он их видел здесь вместе — Сесси за машинкой, пишет письмо под ее диктовку. Ясно, что и мисс Миллер это сейчас вспоминает. Теперь остается только вручить ей брошку, завещанную его женой. Да, малоподходящий подарок. Наверное, лучше было бы оставить ей какую-то сумму денег или даже пишущую машинку. Но что поделаешь — «Дорогой Сесси Миллер, с любовью». И, вручая ей брошь, он произнес коротенькую речь, которую заранее приготовил. Он знает, говорил он, что она сумеет оценить этот подарок. Жена часто ее носила... И мисс Миллер, принимая брошь, ответила, словно тоже заранее подготовленными словами, что теперь это будет самое дорогое ее достояние... Надо надеяться, подумал он, что у нее есть какое-нибудь платье, на котором жемчужная брошь не будет выглядеть так нелепо. Сейчас на ней был черный костюм, можно сказать — форменная одежда женщин ее профессии. А потом вспомнил — конечно же, она в трауре. Она тоже пережила трагедию — брат, в котором она души не чаяла, погиб всего за неделю или две до Андже́лы. Кажется, в какой-то аварии? Забыл, помнит только, что Андже́ла что-то ему говорила. Андже́ла с ее даром отзывчивости невероятно тогда разогорчилась. Сесси Миллер между тем поднялась. Уже надевает перчатки. Наверное, почувствовала, что лишняя. Но он не мог ее отпустить, не сказав нескольких слов о ее будущем. Каковы ее планы? Может он ей чем-нибудь помочь?

Она задумчиво смотрела на стол, на машинку, за которой провела столько часов, на дневник. И, погрузившись в воспоминания об Андже́ле, не сразу ответила на последний вопрос, как будто не поняла. Он повторил:

— Каковы ваши планы, мисс Миллер?

— Планы? О, все в порядке, мистер Клендон! — воскликнула она. — Прошу вас, обо мне не беспокойтесь.

Из ее слов он заключил, что в финансовой поддержке она



не нуждается. Лучше было бы, сообразил он, такое предложение изложить в письме. Теперь он мог только сказать, пожимая ей руку: — Помните, мисс Миллер, если я хоть чем-нибудь могу вам быть полезен, я с удовольствием...— И открыл дверь. На секунду она задержалась, словно что-то вдруг вспомнив.

— Мистер Клендон,— сказала она, впервые взглянув ему прямо в глаза, и впервые его поразило выражение ее глаз — сочувственное, но и пытлиное.— Если когда-нибудь,— продолжала она,— теперь или позже, я смогу чем-нибудь быть вам полезна, помните, ради вашей жены я всегда с радостью...

И с этим ушла. Ее слова и прощальный взгляд удивили его. Словно она думала, или надеялась, что окажется ему нужна. Он вернулся в комнату, и тут у него мелькнула забавная, пожалуй, даже фантастическая мысль. Неужели все эти годы, когда он едва замечал ее, она, как пишут в романах, питала к нему тайную страсть? На ходу он поймал свое отражение в зеркале. За пятьдесят, но нельзя не признать, что, по свидетельству зеркала, он все еще весьма интересный мужчина.

— Бедная Сесси Миллер! — произнес он с усмешкой. Чего бы он ни дал, чтобы посмеяться этой шутке вместе с женой. Невольно рука его потянулась к ее дневнику. «Гилберт,— прочел он, открыв его наудачу,— выглядел просто замечательно...» Она словно ответила на его вопрос. Словно сказала: конечно, ты очень привлекателен как мужчина. Конечно, Сесси Миллер тоже это чувствовала. Он стал читать дальше. «Как я горжусь тем, что я его жена». А он всегда гордился тем, что он ее муж. Сколько раз, когда они обедали в гостях, он смотрел на нее через стол и говорил себе: Самая прелестная женщина в этом сборище! Он читал дальше. В тот первый год он баллотировался в парламент. Они вместе совершили поездку по его округу. «Когда Гилберт сел, ему устроили овацию. Все встали с мест и стоя пели «Ведь он хороший малый». Я была просто сражена». Это он тоже помнил. Она сидела на эстраде рядом с ним. Он как сейчас ви-

дит ее глаза, обращенные на него, и в глазах слезы. А потом? Он перелистал несколько страниц. Они поехали в Венецию. Чудесный это был отпуск после выборов. «Ели мороженое у Флориана». Он улыбнулся — она была еще совсем ребенком. Любила мороженое. «Гилберт так интересно рассказывал мне историю Венеции. Оказывается, дожи...» — так все и записала своим ученическим почерком. Путешествовать с Анджелой было наслаждением еще и потому, что она так жаждала возможно больше узнать. Любила толковать о своем «ужасающем невежестве», а ведь оно только подчеркивало ее обаяние. А потом — он открыл следующий томик — они возвратились в Лондон. «Мне так хотелось произвести хорошее впечатление. Я надела мое подвенечное платье». Да, рядом с ней за столом сидел тогда старый сэр Эдвард, и она прямо на глазах обворожила этого грозного старика, его шефа. Он читал быстро, воскрешая по ее отрывочным фразам сцену за сценой. «Обедали в палате общин... На рауте у Лавгроувзов. Леди Л. спросила меня, сознаю ли я, какая это ответственность — быть женой Гилберта?» А годы шли — он взял со стола еще томик, — и его все больше затягивала работа. А она, конечно, все чаще оставалась дома... Для нее, видимо, явилось серьезным горем, что у них не было детей. «Как бы мне хотелось, — прочел он, — чтобы у Гилберта был сын!» Сам он почему-то никогда об этом особенно не жалел. Жизнь и без того была так полна, так насыщена. В том году он получил свой первый, скромный пост в правительстве. Очень скромный пост, но она записала: «Я совершенно уверена, что он будет премьер-министром!» Что ж, если б дело обернулось иначе, он, возможно, и стал бы премьером. Он прервал чтение, задумавшись о том, что могло бы быть. Политика — лотерея, подумал он, азартная игра, но для него игра еще не кончена, в пятьдесят-то лет! Он пробежал остальные страницы, заполненные мелочами, теми невесомыми, счастливыми, повседневными мелочами, из которых состояла ее жизнь.

Взял новый томик. Снова раскрыл наудачу. «Какая я трусиха! Опять упустила случай. Но мне подумалось, что

это эгоистично — приставать к нему с моими делами, когда он так занят. А мы так редко проводим вечер вдвоем. О чем это она? А-а, вот и объяснение, речь идет о ее работе в Ист-Энде. «Я набралась храбрости и поговорила-таки с Гилбертом. Он проявил столько доброты, столько понимания». Он помнил этот разговор. Она сказала, что чувствует себя такой бездельницей, такой никчемной. Ей хочется тоже иметь какую-нибудь работу, как-то помогать людям, и, помнится, так мило покраснела, говоря это, сидя вот здесь, в этом кресле. Он тогда чуточку подтрунил над ней. Мало ей, что ли, дела — заботиться о нем, вести хозяйство? Но если ей нужно развлечение — на здоровье, конечно, он не против. Что же именно? Какая-нибудь благотворительность? Какой-нибудь комитет? Только, чур, чтобы не переутомляться. И вот она каждую среду стала ездить в Уайт-чепел\*. Он вспомнил, как его раздражало платье, которое она надевала для этих поездок. А она, как видно, взялась за дело всерьез. Дневник пестрел такими записями: «Побывала у миссис Джонс... у нее десять человек детей... муж лишился руки в результате несчастного случая. Сделала все возможное, чтобы устроить Лили на работу». Дальше, дальше. Его имя стало попадаться реже. Читать стало не так интересно. Некоторые записи были совсем непонятны, например: «Поспорили с Б. М. о социализме». Кто это Б. М.? Инициалы ничего ему не подсказали; видимо, какая-то женщина, с которой они вместе заседали в каком-нибудь комитете. «Б. М. неистово ругает правящие классы... С собрания возвращалась с Б. М. и пыталась переубедить его. Но он такой узколобий». Значит, Б. М. — мужчина, не иначе как из этих «интеллигентов», как они себя называют, Анджела всегда говорила, что они и неистовые и узколобые. Она, оказывается, даже пригласила его в гости? «К обеду был Б. М. Он поздоровался с Минни за руку!» Этот восклицательный знак добавил новый штрих к портрету, который уже начал складываться у него в уме. Б. М., как видно, не привык иметь дело с горничными; он поздоровался с Минни за руку.

\* Район в лондонском Ист-Энде, населенный преимущественно беднотой.

Надо полагать, он из тех прирученных рабочих, что разглазывают о своих взглядах в светских гостиных. Гилберт знал этот тип и не симпатизировал ему. Вот он опять. «Была с Б. М. в Таузере... Он сказал, что революция неизбежна... сказал, что все мы живем в выдуманном мире». Да, да, вот такие истины этот Б. М. и должен был изрекать. Гилберт словно слышал его голос. Он и видел его совершенно отчетливо: неотесанный субъект с лохматой бородой, в красном галстуке и твидовом костюме, сам-то небось работал спустя рукава. Не может быть, чтобы Анджела не раскусила его. Он читал дальше. «Б. М. очень нехорошо отозвался о ...» Имя было старательно зачеркнуто. «Я ему сказала, что не желаю больше слышать ругани по адресу...» — имя опять не прочтешь. Неужели это было его собственное имя? Неужели поэтому Анджела поспешила прикрыть рукой страницу, когда он вошел? При этой мысли его неприязнь к Б. М. возросла. Имел наглость обсуждать его здесь, в этой комнате! Почему Анджела ему не сказала? Утаила от него такую вещь, а ведь всегда была до предела искренней. Он стал листать страницы, выискивая все упоминания о Б. М. «Б. М. рассказал мне о своем детстве. Его мать ходила на поденную работу... Как подумаю об этом, просто нет сил жить в такой роскоши... Три гинеи за одну шляпу!» Лучше бы она поговорила об этом с ним, а не забивала свою бедную головку вопросами, явно недоступными ее пониманию! Он давал ей читать книги. Карл Маркс. «Грядущая революция». Инициалы Б. М., Б. М. так и мелькали перед глазами. Но почему ни разу нет полного имени? В этом было что-то неофициальное, интимное, совсем не свойственное Анджеле. Что она, и в лицо называла его Б. М.? Дальше. «Б. М. явился неожиданно, после обеда. К счастью, я была одна». Это записано всего год назад. «К счастью» — почему к счастью? — «я была одна». А сам он где был в тот вечер? Он проверил дату по книжке, куда записывал деловые свидания и встречи. В тот вечер был званый обед у лорд-мэра. А Б. М. и Анджела провели этот вечер вдвоем! Он попытался восстановить все в памяти. Когда он вернулся,

ждала она его или легла спать? А как выглядела комната, как всегда? Были на столе бокалы или нет? Были стулья сдвинуты или не были? Ничего не запомнилось, решительно ничего, кроме речи, которую он сам произнес на обеде у лорд-мэра. Ситуация становилась все более необъяснимой: его жена, одна, принимает у себя незнакомого ему мужчину. Может быть, разгадка в следующей книжке. Он схватил последний томик, тот, что остался не до конца заполненным, когда она умерла. Вот он опять, будь он проклят, на первой же странице. «Обедала одна с Б. М. Он был очень взволнован... сказал, что пора нам понять друг друга... Я пыталась его образумить, но он ничего не слушал. Пригрозил, что если я не...» Дальше все было густо зачеркнуто. По всей странице тянулось «Египет, Египет, Египет». Не разобрать ни слова, но смысл ясен: этот мерзавец склонял ее к незаконной связи. Одни в этой комнате! Кровь бросилась в лицо Гилберту Клендону. Он стал лихорадочно листать страницы. Что она ответила? Инициалы кончились. Теперь шло просто «он». «Он опять приходил. Я сказала, что не могу решить... умоляла его уйти». Негодяй, навязывался ей у нее же в доме. Но почему она сразу ему не сказала? Как могла колебаться хоть минуту? А-а, вот: «Я написала ему письмо». Несколько пустых страниц, а потом: «Ответа на мое письмо нет». Опять пустые страницы, а потом: «Он выполнил свою угрозу». А потом, что было потом? Он листал страницу за страницей. Ничего. Но вот, накануне ее смерти, еще одна запись: «Хватит ли у меня мужества тоже это сделать?» И все.

Гилберт Клендон разжал пальцы, и дневник упал на пол. Перед глазами возникла Анджела. Она стоит на Пикадилли, на краю тротуара. Глаза широко раскрыты, кулаки сжаты. Вот мчится машина...

Этого не вынести. Он должен узнать правду. В два прыжка он очутился у телефона.

— Мисс Миллер? — Молчание. Потом кто-то там зашевелился.

— Сесси Миллер слушает,— раздался наконец ее голос.

— Кто такой Б. М.? — прорычал он.

Он услышал, как на камине у нее громко тикают дешевые часы; потом глубокий вздох. Потом наконец ответ:

— Это был мой брат.

Значит, и правда, это был ее брат, и он покончил с собой.

— Может быть, мне нужно что-нибудь объяснить? — донесся до него вопрос Сесси Миллер, и он крикнул:

— Нет! Ничего не нужно!

Он получил свою долю наследства. Она сказала правду. Она нарочно ступила на мостовую, чтобы соединиться со своим любовником. Ступила на мостовую, чтобы уйти от него.

## Вместе и порознь

Их познакомила миссис Дэллоуэй и добавила: он вам понравится. Разговор начался, когда они еще молчали: и мистер Сэрль и мисс Аннинг смотрели на небо, и для обоих небо лучилось чем-то понятным и важным, впрочем, для каждого своим, но вдруг мисс Аннинг так отчетливо ощутила рядом с собой мистера Сэрля, что стало невозможно видеть небо, просто небо, но только небо над высокой фигурой, над темными глазами и седеющими волосами и сухим, грустным (ей говорили: притворно грустным) лицом Родерика Сэрля, и, зная, что это глупо, она не удержалась и сказала:

— Какой чудесный вечер!

Глупо! Страшно глупо! Но можно ли не быть глупой в сорок лет и под этим небом, пред которым все — несусветная чушь, а она и мистер Сэрль у окна гостиной миссис Дэллоуэй — точки, пылинки в лунном свете, и вся их жизнь не дольше жизни ночного мотылька.

— Да... — произнесла мисс Аннинг и многозначительно похлопала по дивану. Он сел рядом с ней. Правду ли говорят, что он «притворно грустен»? Впрочем — и это опять из-за

неба, — ей было почти безразлично, что там говорят и что делают, и она снова сказала нечто совсем банальное:

— Я знала одну мисс Сэрль, в Кентербери, когда была там девочкой.

Повинуясь чарам ночного неба, мистер Сэрль тотчас же увидел могилы своих предков в голубовато-романтическом свете, глаза его расширились и потемнели, и он ответил: — Да. Мы ведем свой род от норманнов — тех, что приплыли с Вильгельмом. В Кентерберийском соборе похоронен некто Ричард Сэрль. Он был кавалер ордена Подвязки.

Мисс Аннинг почувствовала, что случайно задела настоящего мистера Сэрля, того, на котором выстроен второй, притворный. Зачарованная луной (а луна виделась ей как символ мужского начала, и, глядя на нее сквозь щелку между занавесками, мисс Аннинг плескалась в лунном свете), она могла сказать почти все что угодно и решилась выкопать настоящего мистера Сэрля из-под притворного, говоря себе: «Вперед, Стэнли, вперед!» — это у нее был такой боевой клич, тайная хитрость, чтобы себя прищипорить, подхлестнуть, как это делают иногда немолодые люди, страдающие неисправимым пороком, а она страдала от страшной застенчивости, вернее, лени, ибо ей не хватало даже не смелости, а скорее энергии, особенно в разговоре с мужчинами, которых она побаивалась, и чаще всего разговор с ее стороны выливался в поток банальностей, и у нее было очень мало друзей-мужчин, вообще очень мало близких друзей, подумала она, но если честно, так ли они ей нужны? У нее есть Сара, Артур, дом и собака, и «это», думала она, сидя на диване рядом с мистером Сэрлем и в то же время купаясь, нежась в «этом», в том чувстве, которое охватывало ее всякий раз, когда она возвращалась домой, уверенная, что дома ждут чудеса, заповедное царство, такое, чего ни у кого больше нет и быть не может (ведь только у нее одной есть Артур, Сара, дом и собака), и, снова погружаясь в сладостное чувство обладания, она понимала, что «этого» и луны (а луна — чуждая музыка) ей довольно и не нужен ей этот человек с его гордостью за

умерших Сэрлей. Нет! В этом главная опасность — нельзя, нельзя в ее возрасте давать волю сладкой дремоте. «Вперед, Стэнли, вперед!» — сказала она себе и спросила его:

— А сами вы знаете Кентербери?

Знает ли он Кентербери! Мистер Сэрль улыбнулся, подумав, какой это нелепый вопрос — как мало она знает, эта милая тихая женщина с добрыми глазами и, кажется, умная, с очень красивым старинным ожерельем и, говорят, музыкантша,— как плохо она знает, о чем спрашивает. Спросить у него, знает ли он Кентербери! Когда лучшие годы его жизни, все его воспоминания, все, чего он никогда за всю жизнь не смог рассказать, что пробовал описать — м-да, пробовал описать (он вздохнул), все это было в Кентербери; просто смех.

Его вздох, а потом смех, его грусть и веселость нравились людям, и он это знал, но сознание того, что он нравится, не утолило разочарования, и хотя он использовал всеобщее расположение (и наносил длинные визиты участливым дамам — длинные, длинные визиты), но не без горечи душевной — ибо он не достиг и десятой доли того, чего мог бы достичь, о чем мечтал когда-то мальчиком в Кентербери. При всяком новом знакомстве он оживлялся: тот, кто лишь теперь узнал его, не ведал о несбывшихся надеждах и, поддаваясь его обаянию, позволял начать все сначала — это в пятьдесят-то лет! Она напала на родник. Цветы, и поля, и дома из серого камня тонкой струйкой потекли по его сознанию, собираясь в серебристые капли на его темных, иссохших стенах и стекая на дно. С такого образа часто начинались его стихи. И сейчас ему страстно захотелось создавать образы, здесь, рядом с этой тихой женщиной.

— Да, я знаю Кентербери,— произнес он с задумчивым, сентиментальным выражением, ожидая, как почувствовала мисс Аннинг, новых, не слишком нескромных вопросов, и вот почему всем с ним так интересно, и эта-то удивительная способность легко и остро реагировать на чужие слова погубила его, как часто думал он сам, отстегивая запонки и складывая ключи и мелочь на столик у кровати после



очередного приема (а во время лондонского сезона ему случалось бывать в гостях чуть ли не каждый день), а наутро, спускаясь к завтраку, становился совсем другим, злым и раздражительным, и резко говорил с женой; жена его была очень больна и никогда не выходила из дому, но ее порой навещали знакомые — главным образом знакомые женщины, которые интересовались индийской философией, разными лекарствами и докторами, о чем Родерик Сэрль любил бросить едкую, уничтожающую фразу, слишком для нее остроумную, так что в ответ она могла лишь горько покачать головой да тихо всплакнуть,— он потому ничего не достиг, часто думалось ему, что не смог полностью покинуть свет и общество женщин, столь нужное ему, и писать. Он слишком дал жизни захлестнуть себя — тут он перебрасывал ногу на ногу (все его движения были изысканны и немного оригинальны) — и не винил себя — нет, он винил скорее богатство своей природы и в этом смысле считал себя лучше, чем, скажем, Вордсворт, он слишком много отдал людям, и теперь, думал он, подперев голову руками, они тоже должны помочь ему — такова была прелюдия, трепетная, чарующая, вдохновенная прелюдия к разговору; и образы переполняли его.

— Она похожа на белое дерево — на вишню в цвету,— сказал он, глядя на молодую женщину с пышными светлыми волосами. Красивый образ, подумала Рут Аннинг, очень приятный образ, и все-таки она не уверена, что ей нравится этот изысканно грустный человек и его жесты; странно, как безотчетны наши чувства, подумала она. Ей не нравится он, но понравилось это его сравнение женщины с цветущей вишней. Тонкие нити ее ощущений произвольно относило то туда, то сюда, как щупальца морского цветка, рождая то трепет, то недоуменье, в то время как мозг ее, вдали от метущихся страстей, в прохладной одинокой тиши получал сигналы, которые надлежит обработать, с тем чтобы, когда речь пойдет о Родерике Сэрле (а он был своего рода личность), она могла сразу и определенно сказать: «Он мне нравится» или «Он мне не нравится», раз и навсегда составив свое мнение. Какая странная

мысль, какая важная мысль; в ней, словно сквозь зеленую толщу воды, проглядывает суть наших взаимоотношений.

— Как странно, что вы знаете Кентербери, — сказал мистер Сэрль. — Так трудно бывает понять, — продолжал он (светловолосая женщина уже затерялась среди других гостей), — когда вот так кого-нибудь встретишь (они никогда раньше не встречались), случайно, казалось бы, и вдруг он мимоходом затронет нечто такое, что много значило для тебя, затронет не думая, ведь Кентербери для вас всего лишь милый старый городок, не так ли? Вы там, наверное, провели одно лето, в гостях у тетушки. (Как раз это, только это, Рут Аннинг и собиралась рассказать ему о своей поездке в Кентербери.) Вы осмотрели достопримечательности и уехали, и больше об этом никогда не вспоминали.

Пусть он так думает: он ей не нравится, к чему его разубеждать? На самом-то деле три месяца, проведенные в Кентербери, потрясли ее. Она помнила до последней мелочи, хотя это был самый обыкновенный визит, как они ходили в гости к мисс Шарлотте Сэрль, знакомой ее тетки. Даже теперь она могла бы наизусть повторить слова мисс Сэрль о громе: «Когда я просыпаюсь и слышу гром среди ночи, я всегда думаю: кого-то убило». И в памяти у нее — жесткий мохнатый ковер с ромбиками и мигающие, слезящиеся глаза старушки, когда она, держа перед собой пустую чашку, говорит о громе. И всегда, вспоминая Кентербери, она видела грозовые тучи, и лиловые отблески на цветах яблонь, и длинные серые стены зданий.

Гром пробудил ее от припадка старческого безразличия. «Вперед, Стэнли, вперед!» — проговорила она про себя, что значило: нет, этот от меня не ускользнет, как все остальные, истолковав все превратно; я скажу ему правду.

— Я полюбила Кентербери, — сказала она.

Он сразу весь как-то загорелся. В этом был его дар, его беда, его судьба.

— Полюбили? — переспросил он. — Да-да, я понимаю.

Ее щупальца метнули новый сигнал: ей приятно общество Родерика Сэрля.

Их глаза встретились; скорее — столкнулись, ибо каждый почувствовал, что кто-то там, в глубине, во мраке вечного уединения, тот, кто всегда невидим позади бойкого и болтливового, броского и вертлявого своего двойника, вдруг поднялся во весь рост, сбросил капюшон и шагнул навстречу. Было страшно, было чудесно. Они оба немолоды, и жизнь отполировала их до ровного блеска, так что Родерик Сэрль ходил порой на десяток приемов за сезон и ничего при этом не испытывал, кроме разве туманных сожалений и потребности в красивых образах — вроде этого, с цветущей вишней,— и все время в нем бродило застарелое чувство превосходства над теми, кто его окружает, чувство неиспользованных возможностей, которое, по возвращении домой, выливалось в недовольство жизнью и самим собой, в пустоту, скуку и раздражительность. Но теперь вдруг, как белая стрела сквозь туман (этот-то образ возник сам собою, метнувшись, как молния с небес), явилось оно, старое опьянение жизнью, явилось и обрушилось на него; и это было неприятно, хотя и наполняло радостью и молодостью, и рассыпало по всему телу лед и огонь, это было ужасно.— Кентербери двадцать лет назад...— сказала мисс Аннинг, как прикрывают рукой нестерпимо яркий свет, как прячут пламенеющий персик под зеленым листком, ибо он уже слишком сочен, слишком нежен, слишком спел.

Порой она жалела, что не вышла замуж. Порой ей казалось, что покой и прохлада середины жизни и хорошо отлаженный механизм для защиты души и тела от ударов — все это в сравнении с грозовым небом и яблочным цветом Кентербери — низость. Она могла себе представить нечто другое, нечто пронзительное, громоподобное. Какое-то физическое ощущение. Что-то такое...

Теперь — и это странно, потому что она впервые видела его,— ее чувства, эти щупальца, которые только недавно вздрагивали и колыхались, больше не передавали сигналов, а лежали неподвижно, словно она и Сэрль настолько близки, что могут спокойно плыть бок о бок вниз по течению.

Самое странное, что есть на свете,— это человеческое

общение, подумала она, настолько оно изменчиво, настолько лишено всякой логики, вот и ее неприязнь превратилась в самую что ни на есть пылкую и восторженную любовь, но только лишь слово «любовь» пришло ей на ум, как она его отбросила, опять подумав, как непонятно то, что с нами происходит, и как мало у нас слов для всех этих удивительных ощущений, этой смены боли и наслаждения. Как назвать то, что с ней творится? Она утратила способность быть доброй и понимать других, и Сэрль куда-то исчез, и оба испытывают нестерпимое желание скрыть то, что так тлетворно, так губительно для человеческой природы, то, что всякий старается как-нибудь поприличнее схоронить, — этот порыв, стремление выйти из игры, наплевав на всех, — и, подыскивая какой-нибудь приличный, известный и общепринятый способ захоронения, она проговорила:

— Конечно, как бы там ни было, а Кентербери испортить невозможно.

Он улыбнулся; он принял это; он перебросил ногу на ногу. Она сделала свое дело, он — свое. Вот и все. И сразу же их обоих сковала та полная, непроницаемая пустота, которая, кажется, обволакивает сознание, не пропуская ни мысли, ни чувства сквозь свою плотную завесу, от которой испытываешь почти физическую боль, и глаза, застыв, неподвижно смотрят в одну точку — будь то рисунок на ковре или уголек в камине — и видят с пугающей ясностью, от которой делается не по себе, ибо нет ни мысли, ни впечатления, способного изменить, повернуть, приукрасить то, что открыто глазу, ибо источник чувств наглухо закупорен и мозг онемел, а за ним и тело замерло, как изваяние, так что мистер Сэрль и мисс Аннинг не могли ни заговорить, ни шевельнуться, и им показалось, что с них слетело страшное колдовство и живительная сила хлынула по венам, когда Майра Картрайт игриво коснулась плеча мистера Сэрля и прошептала:

— Я видела вас вчера в театре, а вы улизнули, негодник вы этакий. Да я после этого и говорить с вами не хочу.

И они смогли расстаться.

## Итог

В людных залах стало душно, и в такую ночь не рискуешь промочить ноги, и китайские фонарики казались красными и зелеными плодами в чащобе очарованного леса,— и потому Бертрам Притчард повел миссис Лейзем в сад.

Воля и свежий воздух кружили голову Саше Лейзем, высокой, красивой, несколько ленивой на вид даме, такой величавой наружности, что никто и вообразить не мог усилий и смятения, каких ей стоило каждое произносимое на людях слово. Тем не менее дело обстояло именно так; и она радовалась, что она с Бертрамом, который и в саду явно будет болтать без умолку. Записать все его слова — и получилось бы несусветное что-то — не только мало смысла было в каждом частном замечании, но и сильно хромала логика. Ей-богу, если взять карандаш да и записать его речь дословно — а за один вечер он наговаривал на целый роман,— всякий, осилив все это, без сомнения пришел бы к выводу, что бедняга положительно спятил. Меж тем, совершенно даже напротив, мистер Притчард был почтенный государственный служащий и кавалер ордена Бани; и еще более непостижимо — он почти всем без исключения нравился. Самый звук его голоса, модуляции, некий блеск несуразности, некая эманация сдобной смуглой физиономии и дутой голубиной фигуры — нечто нематериальное и неуловимое имело место, цвело, побеждало и убеждало независимо от его речей и частенько им вопреки. Так, вероятно, думала Саша Лейзем, пока он болтал про свою поездку в Девоншир, про гостиницы, пледы, про Теда и Фреда, про коров и ночные маршруты, про мороженое и про звезды, про европейские вокзалы и про Брэдшо, рестораны, туманы, инфлюэнцу, Ниццу и Китса,— она думала о том, что, в сущности, хорошо, что на свете живет такой человек, и под его болтовню она создавала образ Бертрама, ничуть не похожий на его болтовню, но он именно и отражал истинную суть Бертрама Притчарда, хотя доказать это было немислимо. Ну как станешь доказывать, что он верный друг, и он

благодарен, и — но тут, как часто с ней бывало, когда она беседовала с Бертрамом, она забыла о его существовании и стала думать о другом.

Ночь — вот о чем она стала думать, когда вдруг, словно встряхнувшись, глянула в небо. И на нее пахнуло духом полей, тихих и грустных под звездами, но здесь, в саду у миссис Дэллоуэй, в Вестминстере, эта прелесть особенно тронула ее, рожденную и выросшую в деревне — по контрасту, быть может; запах сена, когда рядом набитые людом комнаты. Она выступала подле Бертрама оленьей, пожалуй, походкой, чуть пружиня при каждом шаге, обмахиваясь веером, величавая, бессловесная, едва дыша, наострив уши, вбирая ноздрями воздух, как дикий, но весь подобранный зверь, впитывающий радость ночи.

Вот, она думала, величайшее из чудес; высшее достижение человечества. Там, где утлый челн пробирался топью под тальником — вот вам, пожалуйста; и она думала про строгий, крепкий, красиво сложенный дом, набитый ценностями, жужжащий как улей, где люди расходятся, сходятся, обмениваются мнениями, спорят. И Кларисса Дэллоуэй его открыла просторам ночи, вымостила трясину, и когда они с Бертрамом дошли до конца сада (оказалось, он очень маленький) и сели в шезлонги, она глянула на дом с почтением, с замиранием сердца, словно золотая стрела пронзила ее, исторгнув благодарные слезы. Хотя по своей стеснительности она обычно слова из себя не могла выдавить, когда ее с кем-нибудь познакомили врасплох, ужасно застенчивая, она глубоко восхищалась другими людьми. Было бы дивно вдруг оказаться кем-то из них, но, обреченная оставаться собою, она могла только молча, вот так, из сада, издали восторгаться обществом тех, к кому ей не было доступа. Хотелось превозносить их вслух в испытанных строфах; они были добры, прекрасны, и вдобавок отважны, покорители ночи и топей, искатели подвигов, обложенные опасностью и прокладывающие путь среди бурь.

По злой прихоти судьбы она не могла к ним присоединиться, зато могла их славить под трескотню Бертрама,

который ведь тоже участвовал в плавании — юнга, матрос, кто-то, кто лазит по мачтам и весело свищет. Тем временем ветка вяза напротив, пропитавшись ее восхищением теми, кто в доме, истекала золотой каплейю; потом распрямилась, как часовой. То была принадлежность бражного пира — мачта, с которой струился флаг. У стены стояло ведро, она и перед ним не осталась в долгу.

Вдруг Бертрам, которому, как всегда, не сиделось, решил обследовать местность и, взгромоздясь на грудку кирпича, выглянул за ограду. Саша тоже выглянула. Она увидела ковш или, возможно, лебедку. Мгновенно чары развеялись. Рядом снова был Лондон; просторный, безличный, безразличный мир; автомобили; дела; фонари возле пивных; и зевающие полисмены.

Удовлетворив любознательность и пополнив за минуту молчания бурлящий источник своей болтовни, Бертрам пригласил мистера и миссис Таких-то посидеть с ними рядом и придвинул еще два шезлонга. И вот они опять сидели и смотрели на тот же дом, тот же вяз, то же ведро; только, глянув за этот забор и увидев этот ковш, а скорее Лондон, как ни в чем не бывало занятый своими делами, Саша не могла уже окутывать мир золотым облаком. Бертрам болтал, а Такие-то — она, убей бог, не могла вспомнить, как они назывались: Уоллеса, Фримены? — отвечали, и каждое слово пробивало тонкое золотое марево и попадало под прозаический луч. Она смотрела на строгий, прочный дом в стиле королевы Анны; она изо всех сил старалась вспомнить, что проходила в школе про Тернистый Остров, челны, устриц, туманы и уток, но уже ей сдавалось, что все это — дело дренажных рабочих и плотников, а нынешнее сборище — люди в вечерних туалетах, не более.

Потом она спросила себя — какой же взгляд истинный. Можно взглянуть ведь на дом и на ковш и так и эдак.

Она поставила этот вопрос перед Таковыми-то, которых по скромности наделяла силой и мудростью других людей. Ответы, бывает, приходят случайно; так отвечал на вопросы

ее старик спаниель, движеньем хвоста.

И вот вяз, лишась позолоты и великолепия, как будто снабдил ее ответом; стал деревом вне оград, на просторе, единственным на болоте деревом. Она его видела часто; видела красные опаленные облака, перечеркнутые его ветвями, и ломкие серебристые лунные стрелы. Да, но что же ответ? Ах да, что душа — Саша чувствовала, как какое-то существо бьется внутри, ищет выхода, и тотчас его назвала душою, — что душа по природе одиночка, вдовья птица; птица, отрешенно и высоко угнездившаяся на вязе.

Но тут Бертрам, поддев ее под локоть, довольно, впрочем, небрежно, ведь он знал ее с детства, заявил, что они нарушают свой долг и пора идти в дом.

И тогда где-то, на глухой улице, или это в пивной, прокатился знакомый, страшный голос, бесполой и мутный, стон, вопль. И вдовья птица, испугнутая, улетела прочь, описывая круги, все шире, шире, пока то, что она называла своею душою, не стало дальним, как ворона, ухнувшая вверх от нацеленного в нее камня.





Иллюстрация Ванессы Белл, сестры Вирджинии Вулф,  
к повести «Флаш», впервые опубликованной  
в издательстве «Хогарт-Пресс»,  
принадлежавшем чете Вулфов.

# Флаш

Биографический очерк

## *Глава первая*

### На Третъей Миле

Всем известно, что род, к которому принадлежит герой нашего рассказа,— один из древнейших. Неудивительно поэтому, что и происхождение имени теряется в глубине веков. Много миллионов лет назад страна, ныне называемая Испанией, еще всходила на дрожжах творенья. Минули эпохи; появилась растительность; где есть растительность, по закону природы должны быть и кролики; где есть кролики, по воле Провидения должны появиться собаки. Тут все ясно и обсуждению не подлежит. Но сто́ит нам далее задаться вопросом, почему собаки, ловившие кроликов, были названы спаниелями,— и сразу возникают сомнения и трудности. Одни ученые утверждают, что когда карфагеняне высадились в Испании, солдаты хором вскричали: «Спан, спан!» — ибо кролики прыскали из-под каждого куста. Страна кишела кроликами. И «спан» на карфагенском языке значит «кролик». И страну назвали Испанией, то есть страной кроликов, а собак, которые не замедлили выскочить из кустов в погоне за кроликами, тотчас окрестили спаниелями, то есть кроличьими собаками.

Тут бы многие и успокоились; но в интересах истины мы вынуждены добавить, что существует другое направление в науке, отстаивающее совершенно иной взгляд на вещи. Слово «Испания», утверждают ученые, принадлежащие к этому направлению, ничего общего не имеет с карфа-

генским словом «спан». Испания происходит от баскского слова *есра́йа*, которое значит «граница», «край». А если так, то кроликов, кусты, собак, солдат — всю эту милую романтическую картину надо выкинуть из головы и просто признаться, что спаниели названы спаниелями потому, что Испания названа *Есра́йа*. Относительно же третьей теории, согласно которой испанцы называют своих собак кривыми и скрюченными (слово *есра́йа* допускает это толкование), подобно тому как возлюбленных называют обезьянами и образинами, намекая как раз на всем известные их совершенства, то столь поверхностное построение даже и не заслуживает сколько-нибудь серьезного разбора.

Минуя эти и еще многие теории, на которых не стоит здесь останавливаться, мы перейдем к Уэльсу в середине десятого века. Спаниель уже столетия назад ввезен сюда испанским семейством Эбхоров не то Айворов, как полагают многие, и, уже вне всяких сомнений, достиг высокого положения и чрезвычайно высоко ценился. «Королевский спаниель ценится в целый фунт», — записал Хауэлл Дха в своем своде законов. А если мы вспомним, сколько всяких вещей можно было купить за фунт в 948 году — сколько жен, рабов, коней, волов, индюшек и гусей, — мы убедимся, что спаниель тогда ценился чрезвычайно высоко. Он был приближен к королю. Его семейство достигло почестей куда раньше, чем семейства многих славных монархов. Он нежился во дворцах, покуда Плантагенеты, Тюдоры и Стюарты брели за чужими плугами по чужим бороздам. Задолго до того, как Говарды, Кавендиши и Расселы поднялись над безликой массой Смитов, Джонсов и Томкинов, семейство спаниелей было уже выделено и отмечено. Шли века, и главный ствол разделился на отдельные ветви. Постепенно, по мере развития английской истории, возникает не менее семи славных семейств спаниелей — кламберские, суссекские, блэкфилдские, норфолкские, ирландские, английские и кокер-спаниели; все они ведут свое начало от доисторического спаниеля, но обладают особыми качествами и, соответственно, претендуют на особые привилегии.

О том, что к царствованию королевы Елизаветы уже выделилась собачья аристократия, свидетельствует сэр Филип Сидни: «...борзые, спаниели и гончие,— сообщает он,— ...из коих первые представляются нам лордами, вторые благородными дворянами, третьи же йоменами среди собак»,— пишет он в своей «Аркадии»\*.

Но если отсюда и проистекает вывод, что спаниели, по примеру людей, смотрят на борзых снизу вверх, а гончих полагают низшими существами, то мы вынуждены признать, что их аристократизм зиждется на куда более существенных основах. С этим согласится всякий, кто изучит законы Клуба Спаниелей. В них незыблемо определяется, каким должен и каким не должен быть спаниель. Светлые глаза, например, не поощряются; кудрявые уши — еще нежелательней; родиться же со светлым носом и с вихром на голове — просто бесчестье. Столь же ясно определяются и достоинства спаниелей. Голова должна быть круглой, с мягкой линией перехода от лба к носу, череп — развитой и вместительный, глаза большие, но не навывкате; общее выражение должно свидетельствовать о чуткости и уме. Спаниель, наделенный этими качествами, всячески превозносится и увековечивается в потомстве; спаниеля же, способного насаждать одни вихры да светлые носы, лишают его наследственных привилегий. Так судьи устанавливают закон и соответственно определяют награды и кары, которые обеспечат его соблюдение.

А теперь обратимся к человеческому обществу — и какой же мы обнаружим тут хаос, какую досадную неразбериху! Нет вообще никакого клуба, ведающего выведением человеческих особей. Геральдическая палата более других заведений приближается к Клубу Спаниелей. В ней хоть делаются попытки сохранить чистоту человеческой породы. Правда, покуда вы задаетесь вопросом, в чем же состоит истинное благородство — глаза у вас должны ли быть

\* Филип Сидни (1554—1586) — английский писатель аристократического происхождения. Погиб в войне Англии с Испанией. «Аркадия» — пасторальный роман, опубликован посмертно в 1590 г.

светлыми или темными, уши — кудрявыми или нет и позорен ли вихор,— судьи просто-напросто отсылают вас к вашему гербу. Предположим, герба у вас не имеется. Тогда вы никто. Но стоит вам обосновать притязания на шестнадцать четвертей гербового поля, обзавестись правом на корону пэров, и тотчас окажется, что вы не просто родились, но родились в благородной семье. И вот ни один пирожник в Мэйфере не обходится без лежащего льва либо вздыбленной русалки. Торговец льняным полотном и тот спешит вывесить герб у себя на дверях, чтобы мы могли спать на его простынях совершенно спокойно. Кто только не заявляет и не получает аристократических прав! Однако, если мы обратимся к судьбе королевских домов — Бурбонов, Габсбургов и Гогенцоллернов, со всеми их коронами и полями, со всеми львами и леопардами, вздыбленными и лежащими, и найдем их ныне в изгнании, в безвластии и небреженье, нам останется лишь покачать головой и признать, что в Клубе Спаниелей судят куда точнее. Придя неизбежно к такому выводу, мы отвлечемся, наконец, от этих высоких материй и перейдем к ранней юности Флаша в лоне семейства Митфордов.

В конце восемнадцатого столетия отпрыски славного рода спаниелей жили близ Рединга, в доме некоего доктора Мидфорда, или Митфорда. Сей джентльмен, в полном согласии с канонами геральдической палаты, предпочел писать имя свое через букву «т», выводя, таким образом, свое происхождение от нортамбергского семейства Митфордов из Бертрамского Замка. Жена его была урожденная Рассел и приходилась отдаленно, зато неоспоримо, сродни герцогам Бедфордам. Меж тем предки самого доктора Митфорда, брачуясь, так постыдно небрегли всеми правилами, что никакой бы судья ни за что не признал в нем породы и не дал бы ему разрешения размножаться. У него были светлые глаза; кудрявые уши; на голове торчал роковой вихор. Иначе говоря — он был бессовестный эгоист, неискренен, суетен, мот и вдобавок неисправимый картежник. Он промотал собственное состояние, состояние

жены и дочерние заработки. Ласкаемый фортуной, он бросил обеих; сев на мель, сделался у них прихлебателем. Двумя достоинствами он обладал несомненно: был дивно хорош собой — истинный Аполлон, покуда пьянство и другие излишества не сделали из него Вакха, и — он очень любил собак. Однако, вне всяких сомнений, существуй на свете Клуб Людей наподобие Клуба Спаниелей, никакая буква «т» вместо «д» в фамилии Митфорд, никакие притязания на знатность не отвели бы от него бесчестья, позора, осуждения, его непременно изгнали бы из общества и заклеили как сукиного сына, который не вправе продолжать свой род. Но был он человек. И оттого ничто не препятствовало ему жениться на девушке благородного рожденья и воспитанья, дожить до восьмидесяти с лишним лет, владеть многими поколениями борзых и спаниелей и произвести на свет дочь.

Терпят неудачу все попытки установить точный год рождения Флаша, не говоря уже о месяце и числе; но, вероятно, он родился в первой половине 1842 года. Вероятно далее, что он происходил по прямой линии от Трэя (ок. 1816 г.), чьи качества, подтверждаемые, к сожалению, лишь зыбкими свидетельствами поэзии, позволяют считать его рыжим кокер-спаниелем высоких заслуг. Есть все основания полагать далее, что он сын того «настоящего старого кокера», ради которого доктор Митфорд расстался с двадцатью гинеями, ибо он был «уж очень славный охотник». Сколько-нибудь полное описание самого Флаша в юности мы находим, увы, только в той же поэзии. Шерсть его была того особенного темного тона, который на солнце весь «во вспышках золотых». Глаза у него были «карие и взор ошеломленный». Уши «украшены кистями», «стройные ноги» «все в пушистой бахrome», и у него был пышный хвост. С некоторой поправкой на жертвы, приносимые ради рифмы, и поэтическую невнятицу, эта аттестация не могла бы не вызвать одобрения в Клубе Спаниеелей. У нас нет сомнений, что Флаш был чистокровный рыжий кокер, обладавший всеми совершенствами, присущими его породе.



Писательница  
Мэри Рассел Митфорд (1787—1855)

Первые месяцы жизни Флаша протекли на Третьей Миле, в бедном домике подле Рединга. А поскольку дела у Митфордов шли скверно — Керренхэппок была единственной служанкой; мисс Митфорд своими руками обивала кресла, и притом самой плохонькой тканью; главным предметом обстановки был, кажется, большой стол; главным помещением большая теплица, — то и Флаш едва ли мог наслаждаться той роскошью (теплая конура, асфальтовые дорожки, мальчик или девочка в собственном распоряжении), на какую ныне вправе притязать пес его ранга. Он, однако, благоденствовал, со всей живостью своей натуры он предавался большинству удовольствий и некоторым вольностям, естественным для его пола и возраста. Мисс Митфорд, правда, подолгу сидела дома. Ей приходилось

часами читать отцу вслух, потом играть в карты, потом, когда он наконец погружался в дремоту,— писать, писать и писать в теплице за столиком, в надежде оплатить счета и свести концы с концами. Но вот наставал долгожданный миг. Она отодвигала бумаги, нахлобучивала шляпу, брала в руку зонтик и отправлялась в поля с собаками. Спаниели и вообще-то чутки; Флаш, как доказывает его биография, был даже особенно чуток к человеческим переживаниям. Видя, как любимая хозяйка наконец жадно глотает ветерок, который треплет ей белые волосы и румянит и без того румяные щеки, а морщины на высоком лбу меж тем расправляются сами собой, он пускался по полю дикими прыжками, неистовство которых отчасти объяснялось ее удовольствием. Она пробиралась по высокой траве, а он носился кругами, шумно вспарывая зеленый занавес. Прохладные шарики дождя и росы разлетались фонтанами вокруг его носа; земля, то твердая, то нежная, то жаркая, то прохладная, колола, царапала и щекотала нежные лапы. А какие запахи в сложнейшем хитросплетенье ударяли ему в ноздри; крепкий дух земли; сладкий дух цветов; дурманящий дух листвы и кустарника; прелый дух, когда переходили через дорогу; едкий дух, когда вступали на бобовое поле. Но вдруг ветер нес душераздирающий запах — крепче, сильнее, мучительней всех других,— запах, врывающийся в его сознание и будивший тысячи забытых инстинктов, миллионы воспоминаний,— запах зайца, запах лисицы. И Флаш мчался, как рыба, подхваченная потоком,— дальше, дальше. Он забывал свою хозяйку; он забывал весь род человеческий. Он слышал крики темнолицых горцев: «Спан! Спан!» Он слышал свист хлыста. Он несся, он мчался. Наконец, растерянный, он останавливался; чары развеивались; очень медленно, кротко виляя хвостом, он трусил полями к тому месту, где стояла мисс Митфорд, кричала: «Флаш! Флаш!» — и размахивала зонтиком. Но однажды по крайней мере он услышал зов еще более властный; охотничий рог разбудил еще более глубокие инстинкты, всколыхнул еще более сильные чув-



ства, так что все воспоминания, и трава, и деревья, и кролики, и лисицы, и зайцы — все слилось и забылось в диком вопле восторга. Свой факел зажгла любовь; он услышал охотничий рог Венеры. Еще почти щенок, Флаш стал отцом.

Такой поступок даже и со стороны мужчины в 1842 году нуждался бы в оправданиях биографа; женщине же вообще не было бы оправданий; имя ее с позором вымарали бы со страницы. Но собачий моральный кодекс — хуже ли он, лучше ли — отличен от нашего, и в поведении Флаша, соответственно, ничего не было такого, что нуждалось бы в утайке теперь или сделало бы его недостойным общества самых чистых и целомудренных в те времена. А именно, есть свидетельство, что старший брат доктора Пьюзи намеревался его купить. И — судя о неизвестном характере этого старшего брата по хорошо известному характеру доктора Пьюзи — были, значит, во Флаше серьезность и основательность, обещавшие в будущем многое, невзирая на его юную ветреность. Но еще красноречивей свидетельствует о его привлекательности то обстоятельство, что, несмотря на намерение мистера Пьюзи купить Флаша, мисс Митфорд отказалась его продать. Она ломала голову, как бы раздобыть денег, не знала, какую бы еще сочинить ей историческую трагедию, какой ежегодник издать, и прибегала к ненавистному выходу, прося помощи у друзей, так что, разумеется, ей нелегко было отвергнуть сумму, предлагаемую мистером Пьюзи. Двадцать фунтов были выложены за отца Флаша. Мисс Митфорд вполне могла бы попросить за Флаша десять или пятнадцать. Десять или пятнадцать фунтов были царственной суммой, суммой, которая дивно выручила бы ее. Имея десять или пятнадцать фунтов, она могла бы заново обить кресла, могла бы привести в порядок теплицу, она могла обновить весь свой гардероб, а ведь «...я не покупала ни шляпы, ни пальто, ни платья и с трудом могла себе позволить пару перчаток, — писала она в 1842 году, — в течение четырех лет».

Но продать Флаша было нельзя, немислимо. Он был

из редкого класса вещей, несовместных с деньгами. Кто знает, он был, возможно, даже из еще более редкого рода вещей, которые, воплощая все высокое и бесценное, могут стать прекрасным знаком бескорыстной дружбы; и почему бы не подарить его тогда подруге, если уж тебе привелось ее иметь, и не просто подруге, а чуть не дочери; подруге, все лето проводящей в четырех стенах на Уимпол-стрит; и не кому-нибудь, а первой поэтессе Англии, блистательной, обожаемой, обреченной, самой Элизабет Барретт? Такие мысли все чаще приходили в голову мисс Митфорд, пока она смотрела, как Флаш носится и валяется по траве, пока она сидела у постели мисс Барретт в затененной плющом темной лондонской спальне. Да, Флаш был достоин мисс Барретт. Мисс Барретт была достойна Флаша. Жертва великая. Но ее следовало принести. И вот однажды, вероятно в начале лета 1842 года, на Уимпол-стрит можно было наблюдать странную пару: очень низенькая, плотная, бедно одетая пожилая дама с ярким румянцем и яркой сединой вела на поводке очень резвого, очень любопытного, очень породистого и юного золотистого кокер-спаниеля. Они проследовали почти до самого конца улицы и перед пятидесятым номером они остановились. Не без трепета мисс Митфорд дернула дверной колокольчик.

И сейчас еще, конечно, никто никогда не дернет без трепета дверной колокольчик на Уимпол-стрит. Из лондонских улиц она самая величавая, самая невозмутимая. Право, едва вам покажется, будто мир вот-вот рухнет и, чего доброго, пошатнется цивилизация, скорее идите на Уимпол-стрит; прогуляйтесь по этой улице; взгляните в эти дома; подумайте об их неразличимости; насладитесь неколебимостью гардин; полюбуйтесь нерушимым, медно-блестящим порядком дверных колец; вникните в то, как мясники предлагают, а повара выбирают разделанные куски мяса; прикиньте доходы жителей и, соответственно, их подвластность законам божеским и человеческим — всего-то и надо вам тогда пойти на Уимпол-стрит, полной грудью вдохнуть разлитого там державного покоя, и тотчас вы

испустите глубокий вздох облегчения, что Коринф вот погиб и рухнула Мессина, миновали царства и распались древние империи, а Уимпол-стрит стоит на месте, и, сворачивая с Уимпол-стрит на Оксфорд-стрит, вы уже молитесь горячо и чуть не вслух, чтобы ни единый кирпичик не подшлифовали заново на Уимпол-стрит, чтобы ни единую гардину не выстирали, и ни один мясник чтоб не забыл предложить, а повар выбрать оковалок, грудинку, филей, будь то говяжий или бараний, ныне и присно и во веки веков, ибо, покуда стоит Уимпол-стрит, цивилизации ничто не угрожает.

Дворецкие на Уимпол-стрит и сейчас степенны; летом же 1842 года они двигались еще неспешней. Честь мундира еще строже соблюдалась; серебро чистили в фартуке зеленого сукна; дверь вам отворяли в полосатом жилете и черном фраке — не иначе. Возможно, мисс Митфорд и Флаша протомили на пороге даже и три с половиной минуты. Наконец, однако, дверь пятидесятого номера распахнулась; мисс Митфорд и Флаша пригласили войти. Мисс Митфорд была тут частой гостьей. Семейный очаг Барреттов разве что несколько подавлял, но уже ничем не мог ее удивить. Зато Флаш, конечно, совершенно изумился. До сих пор он не заходил ни к кому, кроме работника на Третьей Миле. У того в доме были голые доски, рваные половики, дешевые стулья. Здесь же ничего не было голого, ничего рваного, ничего дешевого — это Флаш заметил с первого взгляда. Мистер Барретт, хозяин, был богатый негоциант; у него была большая семья, взрослые сыновья и дочери, и, соответственно, большой штат прислуги. Дом свой он обставил по моде конца тридцатых годов, чуть-чуть ее сдобрив восточным вкусом, которым он руководился, когда особняк свой в Шропшире украсил мавританскими башенками и минаретами. Здесь, на Уимпол-стрит, такие вольности не допускались; зато уж, надо полагать, в высоких темных комнатах царили оттоманки и резное черное дерево; столы на витых ножках; и уставленные притом филигранью; на темно-вишневых стенах висели мечи и кин-

жалы; всякие редкости, вывезенные мистером Барреттом из Вест-Индии, толпились в нишах, и пушистые ковры устилали повсюду пол.

Флаш, однако, трусая за мисс Митфорд, которая шла за дворецким, дивился не столько тому, что он видел, сколько тому, что он чуял. Над лестницей порхали ароматы тушеного мяса, жареной дичи и кипящих супов, чуть ли не более самой еды обворожительные для того, кто привык к весьма скромным запахам скудного рагу и гуляша в исполнении Керенхэпкок. К запахам еды примешивались еще запахи — запах черного дерева, и сандала, и красного дерева; запах мужских тел и женских; слуг и служанок; сюртуков и брюк; мантилек и кринолинов; гобеленовых занавесей; плюшевых занавесей; угольной пыли и дыма; вина и сигар. Каждая комната, когда он проходил мимо — столовая, гостиная, библиотека, спальня, — чего-то добавляла к букету; а тем временем томный ворс ковров жадно ласкал и нежно удерживал его лапы. Наконец они очутились перед закрытой дверью в глубине дома. И на тихий стук тихо отворилась дверь.

Спальню мисс Барретт — ибо она это и была — держали всегда в темноте. Свет, обычно приглушенный занавесом из зеленой камки, летом еще более затенялся плющом, многоцветной фасолью, вьюнками и настурциями, которые росли на окне. Сперва Флаш не различил в бледно-зеленом сумраке ничего, кроме пяти загадочных и мерцающих, словно парящих шаров. Но здесь его снова ошеломил запах. Лишь ученый, который ступень за ступенью спускался по мавзолею и вдруг очутился в склепе, поросшем мхом, склизком от плесени, пропитанном кисловатым духом веков и тлена, и вот ничего не различает в тусклом свете своей лампы, кроме тающих, словно парящих, мраморных битых бюстов, и гнется и тянет шею, чтоб получше их разглядеть, — лишь такой ученый под сводами склепа в разрушенном городе мог бы понять всю силу чувств, охвативших Флаша, когда он впервые очутился в спальне больной и вдохнул запах одеколона.



Портрет Элизабет Барретт-Браунинг (справа)  
работы Уильяма Мейкписа Теккерея.  
Младшая дочь писателя, Хэрриэт Мириэн, была первой женой  
отца Вирджинии Вулф — Лесли Стивена.

Очень медленно, очень смутно, с помощью носа и лап, Флаш выделял очертанья предметов, заполнивших комнату. Это огромное, возле окна, был, надо думать, шкаф. Рядом стоял, очевидно, комод. Посредине, на гладь пола, всплыл, кажется, стол, обведенный каким-то кругом, а потом вырисовывались еще неясные образы кресла и тоже стола. Но вещи здесь не были просто собою. Все подо что-то маскировалось. Шкаф захватили три белых бюста; комод оседлала книжная полка; полка была обита малиновым

мериносом; умывальник венчался полочками; полочки венчались еще двумя бюстами. Ничто в этой комнате не желало быть только собой. Все принимало личины. Даже оконные шторы не были попросту шторами. Были они из чего-то такого раскрашенного, и на них были замки, и ворота, и рощи, и крестьяне прогуливались по ним. Зеркала вносили еще большую путаницу, и получалось, что здесь не пять бюстов пяти поэтов, а уже их взялось откуда-то десять, и столов здесь было не два, а четыре. Но вдруг Флаш столкнулся с вовсе уж поразительной несуразностью. Из дыры в стене на него, дрожа языком, блестя глазами, смотрел — другой пес! Изумленный, он остановился. Он приблизился с трепетом.

Так, приближаясь, так, прядая назад, Флаш едва слышал шелест и плеск разговора, будто гул ветра в дальних вершинах дубов. Он продолжал свои разыскания осторожно, сдерживаясь, как осторожно ступает путник по дремучему лесу, не зная, не лев ли — эта тень перед ним и не кобра ли — этот корень? Но вот он заметил, что над ним двигают что-то огромное, и у него наконец сдали нервы, и, дрожа, он забился за ширму. Голоса смолкли. Дверь захлопнулась. На секунду он замер — опустошенный, разбитый. И вдруг — будто острые тигриные когти впились в него — и сразу он вспомнил. Он понял, что он один — он брошен. Он метнулся к двери. Дверь была закрыта. Он скребся, он вслушивался. Он слышал, как по лестнице спускается кто-то. Он узнал шаги своей хозяйки. Вот она остановилась. Но нет, пошла — вниз, вниз. Мисс Митфорд очень медленно, очень тяжело, очень трудно спускалась по лестнице. Он слышал, как замирают ее шаги, и его охватил ужас. Одна за другою хлопали двери, пока мисс Митфорд спускалась по лестнице, навсегда отделяя его от воли; полей; от зайцев; травы; от любимой, обожаемой хозяйки — милой старой женщины, которая мыла его, и наказывала, и кормила его со своей тарелки, хотя ей и самой не всегда удавалось сытно поесть, — от всего, что узнал он о счастье, любви, о доброте человеческой! Вот!

Хлопнула дверь парадного. Он остался один. Она его бросила.

И такое отчаяние его охватило, такая нашла на него тоска, так поразила его безжалостность и неотвратимость рока, что он поднял голову и громко завыл. Голос позвал: «Флаш!» Он не услышал. «Флаш!» — повторил голос. Он вздрогнул. Он-то думал, что он здесь один. Он повернулся. Значит, в комнате есть еще кто-то? Что это там, на кушетке? В безумной надежде, что существо это, кем бы ни оказалось оно, откроет ему дверь и он кинется следом за мисс Митфорд и найдет ее, что это просто игра в прятки, как, бывало, дома, в теплице,— Флаш метнулся к кушетке.

— Ох, Флаш! — сказала мисс Барретт. Впервые она посмотрела ему в глаза. Впервые Флаш увидел леди, лежавшую на кушетке.

Оба удивились. Тяжелые локоны обрамляли лицо мисс Барретт; большие яркие глаза сияли на этом лице; улыбался большой рот. Тяжелые уши обрамляли физиономию Флаша; глаза у него тоже были большие и яркие; и рот был большой. Они были очень похожи. Глядя друг на друга, оба подумали: «Да это же я!» И сразу потом: «Но какая, однако же, разница!» У нее было истомленное, болезненное лицо, бледное от недостатка света, воли и воздуха. У него — бодрая, цветущая мордочка юного, резвого, веселого зверя. Расколотые надвое, но вылитые в одной форме — не дополняли ли они тайно друг друга? И в ней заложено — это все? А он — ? Но нет. Их разделяла самая глубокая пропасть, какая только мыслима между двумя существами. Она была говорящая. Он — нем. Она была женщина. Он — пес. Так, нерасторжимо связанные и бесконечно отъединенные, смотрели они друг на друга. Потом один прыжок — и Флаш очутился на кушетке и улегся там, где ему отныне предстояло лежать,— на коврике у ног мисс Барретт.

## В спальне

Лето 1842 года, говорят нам историки, не запомнилось ничем необычайным, но для Флаша оно оказалось до того необычайным, что в пору было испугаться, не перевернулся ли мир. Это было лето, проведенное в спальне; лето с мисс Барретт. Лето в Лондоне; в центре цивилизации. Сперва он не видел ничего, кроме спальни и мебели в спальне, но все равно голова у него шла кругом. Опознать, различить и назвать по именам все непонятные предметы, которые он видел, само по себе было ужасно трудно. И он еще не успел освоиться со столом, и с бюстами, и с умывальником, и запах одеколона еще надрывал ему ноздри, когда настал один из тех редкостных дней — ясный, но не ветреный, теплый, но не знойный, сухой, но не пыльный, — когда и больной можно подышать воздухом. День, когда мисс Барретт вполне могла решиться на смелое приключение — отправиться за покупками со своей сестрой.

Вызвали карету; мисс Барретт встала с кушетки; укутанная и обмотанная, она спустилась по лестнице. Флаш, разумеется, отправился вместе с ней. Он прыгнул следом за нею в карету. Он лежал у нее на коленях, и пышный Лондон во всем великолепии представлял его изумленному взору. Они ехали по Оксфорд-стрит. Он видел дома, состоящие почти целиком из стекла. Видел витрины, разукрашенные сверканьем вымпелов; ломящиеся от розового, лилового, красного, желтого блеска. Карета остановилась. Он ступил под таинственные своды, в колышущееся цветное марево кисеи. До самых глубин его пронизали несчетные смутные ароматы Аравии и Китая. Ярко вспыхивали над прилавками нежные ярды порхающего шелка; темней, неспешней — тяжелый разворачивался бомбазин. Прошелкали ножницы; блеснули монеты; прошелестела бумага; закрепилась бечевка. И от качанья перьев, от реющих вымпелов, гарцующих лошадей, желтых ливрей, проплы-



вающих мимо лиц Флаш так утомился, что рухнул, и уснул, и видел сны, и опомнился только тогда, когда его подняли с сиденья кареты и дверь на Уимпол-стрит снова затворилась за ним.

Но назавтра держалась ясная погода, и мисс Барретт отважилась на еще более дерзкое предприятие — она отправилась гулять в инвалидном кресле по Уимпол-стрит. И снова Флаш ее сопровождал. Впервые услышал он, как цокают его когти по звонким лондонским плитам. Впервые все запахи жаркого лондонского лета залпом ударили ему в ноздри. Он вдыхал обморочные запахи, прячущиеся в сточных желобах; горькие запахи, гложущие железные ограды; буйные, неумные запахи, поднимающиеся из подвалов, — запахи, куда более изощренные, нечистые и коварные, чем те, которые он вдыхал в полях под Редингом; запахи совершенно недоступные для человеческого нюха; и в то время как кресло спокойно катилось дальше, он останавливался оторопев; и внюхивался, и наслаждался, пока его не оттаскивали за поводок. Вдобавок, трюся по Уимпол-стрит за креслом мисс Барретт, он совершенно растерялся от мельканья прохожих. Морду ему оведали юбками; задевали брюками по бокам; иной раз колесо мелькало всего в каком-нибудь дюйме от его носа; воющим ветром погибели дохнуло ему в уши и вздыбило очесы на лапах, когда мимо прогрохал фургон. И он рванулся с поводка. Слава богу, ошейник впился ему в шею; мисс Барретт крепко его держала, не то он бросился б навстречу погибели.

Наконец, обмирая от нетерпения и восторга, он очутился в Риджентс-парке. И вот когда он снова, будто после долгих лет разлуки, увидел траву, и деревья, и цветы, древний охотничий зов полей отозвался у него в ушах, и он понесся вперед, как он носился в родных полях. И снова ошейник впился ему в горло, его оттянули назад. Но разве это не трава, не деревья? — спрашивал он. Разве это не знаки свободы? Он же всегда опрометью несся вперед, как только мисс Митфорд выходила гулять, ведь правда? Почему же здесь он невольник? Он замер. Здесь,

он заметил, цветы стояли гораздо теснее, чем дома; они жались друг к другу на тесных делянках. Делянки пересекались твердыми черными тропками. Люди в блестящих цилиндрах грозно вышагивали по тропкам. Завидя их, он теснее прижался к креслу. И уже после нескольких таких прогулок он постиг очень важную истину. Сопоставляя одно с другим, он пришел к умозаключению. Там, где есть клумбы, есть и асфальтовые тропки; где есть клумбы и асфальтовые тропки, есть люди в блестящих цилиндрах; там, где есть клумбы, и асфальтовые тропки, и люди в блестящих цилиндрах, собаки должны ходить только на цепи. Не умея прочесть ни единого слова на табличке у входа, он тем не менее понял — в Риджентс-парке собаки должны ходить только на цепи.

И к этим зачаткам познаний, почерпнутым из странного опыта летом 1842 года, скоро прибавилось еще кое-что: собаки, оказывается, не равны, они неравноправны. На Третьей Миле Флаш без зазрения совести общался с дворнягой из кабака и с помещичьими борзыми; он не делал различия между собой и собачонкой лудильщика. Возможно даже, мать его щенка, без родословной произведенная в спаниельство, была всего лишь дворняга, ибо уши у нее никак не отвечали хвосту. Но лондонские собаки, скоро понял Флаш, были строго разделены на классы. Одни ходили на поводках; другие рыскали сами по себе. Одни прогуливались в каретах и пили из красных мисочек; другие, помятые, без ошейников, добывали себе пропитание в сточных канавах. Стало быть, начал прозревать Флаш, собаки неравны; одни высокого происхождения, другие низкого; и догадки его подтверждались, когда, проходя по Уимпол-стрит, он слышал обрывки собачьих бесед: «Видал субчика? Ну дворняга!.. Что ты, благороднейший спаниель. Голубая кровь! ...Этому уши бы еще чуть покудрявей!.. Поздравляю — вихор!»

Из этих фраз и по интонации хвалы или хулы, с которой они произносились у почты ли или у кабака, где лакеи совещались о ставках на дерби, Флаш еще до наступления

осени понял, что между собаками нет равенства, что есть собаки низкого и есть собаки высокого происхождения. Но кто же тогда он сам? И не успел Флаш вернуться домой, он тотчас, приосанясь, стал придирчиво изучать себя в зеркале. Слава благим небесам, он чистокровный породистый пес! Голова у него гладкая; глаза круглые, но не навывкате; у него очесы на лапах; он ни в чем не уступит самому благородному кокеру на всей Уимпол-стрит. Вдобавок он пьет из красной мисочки. Да, таковы привилегии знатности. Он затихает покорно, когда на ошейнике укрепляют карабин поводка,— таково ее бремя. Как-то мисс Барретт, увидев его перед зеркалом, ошиблась на его счет. Он философ, решила она, размышляющий о несоответствии между сущим и видимым. Совершенно напротив, он был аристократ, оценивающий собственные достоинства.

Но скоро кончились теплые летние дни; задули осенние ветры; мисс Барретт уже не выходила из затворничества своей спальни. Жизнь Флаша тоже переменилась. Воспитание на свежем воздухе сменилось воспитанием в четырех стенах, а это для пса с темпераментом Флаша было ужасно мучительно. Жалкие выходы его, краткие и лишь по неотложной надобности, совершались отныне в обществе Уилсон, горничной мисс Барретт. Остальное время он проводил на кушетке у ног мисс Барретт. Все словно сговорилось против его природы и склонностей. В прошлом году, когда задули осенние ветры, он как сумасшедший носился по жнивью; теперь, когда плющ стучал по стеклам, мисс Барретт просила Уилсон проверить, хорошо ли заперты окна. Желтели и осыпались в оконных ящиках листья настурций и многоцветной фасоли, и мисс Барретт плотнее куталась в индийскую шаль. Октябрьский дождь стучал по стеклам, и Уилсон разводила огонь в камине и подсыпала туда угля. Потом осень перешла в зиму, и в воздухе разлилась желчь первых туманов. Уилсон и Флаш с трудом пробирались к почтовой тумбе и к аптеке. Когда они возвращались, в комнате ничего уже было не различить, только бюсты бледно мерцали над шкафом; крестьяне

и замки исчезали со шторок; в окнах стояла желтая пуста. Флашу казалось, что он и мисс Барретт живут в одинокой пещере среди подушек и греются у костра. За окном непрерывно жужжала и глухо урчала улица. Порою голос хрипло зывал: «Чиню старые стулья, корзины!», а то раздавались взвизги шарманки, приближаясь, делались громче и, удаляясь, стихали. Но ни один из этих звуков не звал к свободе, движению, деятельности. Ветер и дождь, ненастные дни осени и холодные зимние дни — все они значили для Флаша одно: тишь и тепло; зажигались лампы, задергивались занавеси, и кочерга ворошила угли в камине.

Сначала ему было невмоготу. Он не сдержался и стал носиться по комнате как-то ветреным осенним днем, когда по жнивью, конечно, рассыпались куропатки. В ветре чудились ему звуки выстрелов. Он бросался к двери со вздыбленной холкой, когда на улице кто-то лаял. Но мисс Барретт окликала его и клала руку ему на ошейник, и тогда совсем новое чувство — он не мог отрицать, — неодолимое, странное, неловкое (он не знал, как назвать его и почему он ему подчинялся) удерживало его. Он тихо ложился у ее ног. Смиряться, превозмогать себя, преодолевать самые пылкие свои порывы — таков был главный урок, затверженный им в спальне, урок такой невероятной трудности, что иным филологам куда легче выучить греческий, а иным генералам и половины усилий не стоит выиграть битву. Но ведь ему-то преподавала мисс Барретт. Меж ними, чувствовал Флаш, от недели к неделе крепла связь, обременительная, блаженная близость; и если его радость причиняла ей боль, то уже радость была ему не в радость, а была на три четверти болью. Эта истина день ото дня получала новые подтверждения. Вот кто-нибудь открывал дверь и свистал Флаша. Почему бы не выйти? Он мечтал о прогулке; лапы у него затекали от лежанья на кушетке. Он так и не примирился с запахом одеколона. Но нет — хоть дверь стояла открытая, он не мог бросить мисс Барретт. Он шел к двери, на полпути медлил и возвращался. «Флаш, — писала мисс Барретт, — мой друг, мой

преданный друг. Я для него важнее, чем свет в окошке». Она не могла выходить на улицу. Она была прикована к кушетке. «Птичка в клетке,— писала она,— вполне бы меня поняла». А Флаш, когда открывался вольный мир, жертвовал всеми запахами Уимпол-стрит, чтоб только лежать у ее ног.

Однако порою связь чуть не порывалась; вдруг им не хватало взаимопониманья. Тогда они лежали и смотрели друг на друга, совершенно недоумевая. Почему, удивлялась мисс Барретт, Флаш ни с того ни с сего вздрагивает, и скулит, и прислушивается? Она ничего не слышала; она ничего не видела; в комнате, кроме них, не было никого. Ей было невдомек, что Фолли, болоночка ее сестры, прошла за дверь; что лакей в первом этаже кормит Катилину, кубинскую ищейку, бараньей костью. А Флаш это знал; он все слышал; его раздирали попеременно то вожделенье, то алчность. И со всем своим поэтическим воображением мисс Барретт не могла угадать, что значил для Флаша мокрый зонтик Уилсон; какие он будил в нем воспоминания о лесах, попугаях, о трубных кличах слонов; и того не поняла она, когда мистер Кеньон зацепился за шнур колокольчика, что Флаш услышал проклятья темнолицых горцев; что крик «Спан! Спан!» отдался у него в ушах, и глухая наследственная ненависть заставила его укусить мистера Кеньона.

Точно так же Флаша порою ставило в тупик поведение мисс Барретт. Она часами лежала и водила по белому листу бумаги черной палочкой, и вот глаза ее вдруг наполнились слезами; но отчего? «Ах, милый мистер Хорн,— писала она,— здоровье мое пошатнулось... а потом эта ссылка в Торкви... превратившая жизнь мою навеки в ночной кошмар и лишившая меня того, о чем и рассказать нельзя; никому не говорите об этом. Не говорите об этом, милый мистер Хорн». Но в комнате не было ни звуков, ни запахов, которые могли бы вызвать слезы мисс Барретт. А то, вода этой своей палочкой по бумаге, мисс Барретт вдруг разразилась смехом. Она нарисовала «очень точный и выразительный портрет Флаша, который забавно воспроиз-

водит мои черты, и если,— написала она далее, уже под портретом,— он не может вполне сойти за мой собственный, то лишь оттого, что я не вправе притязать на эти совершенства». Ну и что смешного было в черной кляксе, которую она совала под нос Флашу? Он ничего не учуял; ничего не услышал. В комнате, кроме них, не было никого. Да, они не могли объясняться с помощью слов, и это, бесспорно, вело к недоразумениям. Но не вело ли это и к особенной близости? «Писание,— как-то воскликнула мисс Барретт после утренних трудов,— писание, писание...» «В конце концов,— наверное, подумала она,— все ли выражают слова? Да и что слова могут выразить? Не разрушают ли слова неназываемый, им неподвластный образ?» Однажды, по крайней мере, мисс Барретт, уж верно, пришла к этому умозаключению. Она лежала, думала; она совершенно забыла про Флаша, и мысли ее были так печальны, что слезы катились из глаз и капали на подушку. И вдруг косматая голова к ней прижалась; большие сияющие глаза отразились в ее глазах; и она вздрогнула. Флаш это — или Пан? А сама она, бедная затворница Уимпол-стрит, не стала ли вдруг греческой нимфой в темном гроте Аркадии? И не прижался ли сам бородатый бог устами к ее устам? На миг она преобразилась; она была нимфа, и Флаш был — Пан. Горело солнце, пылала любовь. Но, положим, Флаш вдруг обрел бы дар речи, разве сумел бы он сказать что-нибудь умное о картофельной болезни в Ирландии?

Флаша тоже волновали странные порывы. Он смотрел, как тонкие руки мисс Барретт нежно поднимают шкатулку либо ожерелье со столика, и мохнатые его лапы словно сжимались, он мечтал о том, чтоб они тоже оканчивались десятью отдельными пальцами. Он вслушивался в ее низкий голос, скандирующий бесчисленные слоги, и он мечтал о том дне, когда собственный его грубый рев вдруг обратится в ясные звуки, полные тайных значений. А когда он следил, как эти самые ее пальцы вечно водят прямой палочкой по белой странице, он мечтал о том времени,

когда он тоже научится не хуже ее марать бумагу.

Да, но сумел ли бы он писать так, как она?

К счастью, вопрос совершенно праздный, ибо в интересах истины мы вынуждены признаться, что в 1842—1843 годах мисс Барретт была никак не нимфой, но бедной больной; Флаш не был поэтом, а был рыжим кокер-спаниелем; Уимпол-стрит была не Аркадией, а была Уимпол-стрит.

Так текли долгие часы в спальне, не отмеренные ничем; только звуком шагов на лестнице; и дальним звуком захлопнутой двери парадного; и звуком метущей швабры; да еще стуком почтальона. В комнате потрескивали угли; свет и тень напоздали по очереди на лбы пяти бледных поэтов, на полку, на малиновый меринос. Но случалось, шаги не проходили мимо по лестнице; они затихали под дверь. Видно было, как поворачивается ручка; и правда, дверь открывалась; кто-нибудь входил. И как удивительно сразу менялась комната! Какие взметались вихри немислимых звуков и запахов! Как омывали они ножки стола и ударялись об острые углы шкафа! Это могла оказаться Уилсон с едой на подносе или с лекарством в пузырьке; или одна из сестер мисс Барретт — Арабелли или Генриетта; мог это оказаться и один из семи ее братьев — Чарльз, Сэмюэл, Джордж, Генри, Альфред, Септимус или Октавиус. Но два или три раза в неделю Флаш чувствовал, что готовится нечто более важное. Постели тщательно придавали вид кушетки. К ней придвигали кресло; мисс Барретт живописно куталась в индийскую шаль; гребенки и пилочки бережно укрывали за бюстами Чосера и Гомера; самого Флаша аккуратно расчесывали. Часа в два или три пополудни раздавался иной, особенный, четкий стук в дверь. Мисс Барретт краснела, улыбалась, простирала руку. И входили — иногда милая мисс Митфорд, румяная, сияющая, разговорчивая — и с пучком герани. Или это оказывался мистер Кеньон, плотный, вальяжный пожилой господин, излучающий благожелательство и вооруженный книжкой. Иногда это была миссис Джеймсон, дама, внешне являвшая полную противоположность мистеру Кеньону, —

дама «с очень бледным цветом лица — у нее бледные, прозрачные глаза; тонкие бесцветные губы... а нос и подбородок сильно выдаются вперед, но ширины зато не имеют». И у каждого была своя манера, запах, тон, голос. Мисс Митфорд болтала без умолку и — всегда впопыхах — засиживалась дольше всех; мистер Кеньон был учтив, изыскан и слегка шепеляв по причине отсутствия двух передних зубов; у миссис Джеймсон зубы все были целы, а движения четки и рублены, как ее фразы.

Свернувшись калачиком у ног мисс Барретт, Флаш слушал, как журчат над ним голоса. Шел час за часом. Мисс Барретт смеялась, спорила, удивлялась, вздыхала и снова смеялась. Наконец, к великому облегчению Флаша, начинали перепадать паузы — даже в словесном потоке мисс Митфорд. Неужто семь уже? Она ведь тут с двух! Надо бежать, не то она опоздает на поезд. Мистер Кеньон захлопывал книгу — он читал ее вслух — и становился спиной к камину; миссис Джеймсон решительно, четко вправляла палец за пальцем в перчатку. И кто похлопывал Флаша по холке, кто трепал ему ухо. Прощание нестерпимо затягивалось, но в конце концов мисс Джеймсон, мистер Кеньон и даже мисс Митфорд вставали, откланивались, что-то вспоминали, что-то теряли, что-то обнаруживали, достигали двери, отворяли ее и — хвала небесам — наконец уходили.

Мисс Барретт, очень бледная, очень усталая, откидывалась на подушки. Флаш подползал к ней поближе. Славу богу, они снова были одни. Но гость проторчал так долго, что уже настало время обеда. Снизу неслись запахи. В дверях появлялась Уилсон, неся на подносе обед для мисс Барретт. Поднос водружался на столик рядом с мисс Барретт, вспархивали салфеточки. Но от всех этих разговоров, приготовлений, от духоты в комнате и прощальных возгласов мисс Барретт так уставала, что не могла есть. Со вздохом оглядывала она сочную баранью отбивную, крылышко куропатки или цыпленка. Пока Уилсон была в комнате, она еще ковыряла их ножом и вилкой. Но как только хлоппы-



валась дверь, она делала знак. Она поднимала вилку. На вилку было насажено целое куриное крыло. Флаш приближался. Мисс Барретт кивала. Очень ловко, очень осторожно, не уронив ни кусочка, Флаш снимал крыло с вилки; проглатывал его без следа. Половина рисового пудинга в комьях густых сливок отправлялась туда же. Сотрудничество Флаша было плодотворно и незаменимо. Он лежал, как обычно, свернувшись калачиком у ног мисс Барретт, и, очевидно, дремал, мисс Барретт лежала, отдохнувшая и, по-видимому, подкрепленная сытным обедом, когда шаги, тяжелее, весомей и тверже всех прочих, останавливались у двери; раздавался важный стук, которым не спрашивали, можно ли, но возвещали намерение войти. Дверь открывалась, и на пороге являлся самый мрачный, самый страшный из всех пожилых людей — мистер Барретт собственной персоной. Глаза его тотчас останавливались на подносе. Съеден ли обед? Выполнен ли его приказ? Да, на тарелке ничего не оставалось. Одобряя покорность дочери, мистер Барретт тяжело опускался в кресло с ней рядом. Когда эта темная масса надвигалась на него, по спине у Флаша от ужаса бежали мурашки. Так дрожит упрятавшийся в цветах дикарь, когда в грохоте грома он слышит глас божий. Уилсон свистала; виновато, крадущейся походкой, будто мистер Барретт мог прочесть его мысли, а мысли эти были дурные, Флаш выходил из комнаты и кидался опрометью по лестнице вниз. В спальне водворялась сила, которой он страшился; сила, которой он не мог противостоять. Как-то он неожиданно ворвался в спальню. Мистер Барретт молился, стоя на коленях у постели дочери.

### *Глава третья*

## **Человек под капюшоном**

Такое воспитание в спальне на Уимпол-стрит подействовало бы и на заурядного пса. Но Флаш не был заурядным псом.

Он был резв, но склонен к раздумью; молодой, хоть и не человек, он был восприимчив к человеческим проявлениям. На нем атмосфера спальни сказывалась особенно сильно. И вправе ли мы его порицать, если чувствительность развивалась в нем даже в ущерб иным, более неотъемлемым качествам четвероногого? Конечно, частенько используя греческий словарь вместо подушки, он стал презирать драки и лай; он стал предпочитать молчаливость кошек собачьей шумливости; а той и другой — человечье участие. Мисс Барретт, со своей стороны, старалась еще более развить его богатые задатки. Однажды она сняла с окна арфу и, положив ее с ним рядом, спросила, как он полагает — издающая музыкальные звуки арфа — живая ли сама? Он смотрел и слушал; мгновение, кажется, он терялся в догадках и затем решил, что она неживая. А то еще мисс Барретт поместилась вместе с ним перед зеркалом и стала спрашивать, отчего он лает и дрожит. Разве рыжий песик в зеркале — не он сам? И что это такое — ты сам? То, что видят люди? Или то, что ты есть? Флаш раздумывал и над этим вопросом, но, не в силах разрешить проблему реального, прижался к мисс Барретт и поцеловал ее «от души». И уж это, по крайней мере, была несомненная реальность.

После подобных вопросов, после столь волнующих и интересных задач он спускался по лестнице, и что же тут удивительного, если в повадке его замечалась некая небрежность, легкая снисходительность, что ли, которая бесила свирепого Катилину, кубинскую ищейку, и тот бросался на него и кусал, и Флаш с воем мчался обратно вверх к мисс Барретт за утешением. Флаш «не герой», заключала она, но почему он не герой? Не из-за нее ли отчасти? Она слишком была честна, чтобы не сознаться себе, что именно ей принесена в жертву его удаля, вместе с солнечным светом и воздухом. Его тонкий склад имел, разумеется, и теневые стороны. Ей ужасно было за него неудобно, когда он укусил бедного мистера Кеньона, споткнувшегося о шнур колокольчика; он докучал ей, когда жалобно скулил всю ночь напролет, изгоняемый из постели; когда отказывался принимать

пищу иначе как из ее рук; но она брала вино на себя и все прощала Флашу за то, что он ее любил. Он пожертвовал ради нее солнечным светом и воздухом. «Он достоин любви, ведь правда?» — спрашивала она у мистера Хорна. Но как бы там ни ответил ей мистер Хорн, мисс Барретт знала сама: она любила Флаша, и Флаш был достоин ее любви.

Казалось, ничто не может разорвать этих уз — словно годы могут только их укрепить и упрочить и словно ничто в жизни уже не может перемениться. Тысяча восемьсот сорок второй год сменился тысяча восемьсот сорок третьим; сорок третий — сорок четвертым; сорок четвертый — сорок пятым. Флаш вышел уже из щенячьего возраста; он стал четырехлетним или даже пятилетним псом; псом в полном расцвете — а мисс Барретт все лежала на кушетке, и Флаш все лежал на кушетке у ее ног. Мисс Барретт жила «как птичка в клетке». Бывало, она неделями не выбиралась из дому, а если и выбиралась, то на часок — за покупками в карете или погулять по Риджентс-парку в инвалидном кресле. Барретты никогда не выезжали из Лондона. Мистер Барретт, семеро братьев, две сестры, дворецкий, Уилсон и горничные, Катилина, Фолли, мисс Барретт и Флаш жили и жили в номере пятидесятом по Уимпол-стрит, ели в столовой, спали в спальнях, курили в библиотеке, стряпали в кухне, таскали баки с горячей водой и выливали помой с января по декабрь. Слегка засаливалась обивка кресел; слегка протирались ковры; угольная пыль, грязь, сажа, копоть, испаренья курева, вина и еды оседали в щелях, и трещинах, и на шероховатостях, на рамах картин, на резных завитках. Только плющу на окне у мисс Барретт было все нипочем; его зеленая завесь становилась пышней и пышней; а летом настурции и многоцветная фасоль дружно буйствовали в оконных ящиках.

Но вот однажды вечером в январе 1845 года в дверь постучал почтальон. Как всегда, в ящик упали письма. Как всегда, Уилсон спустилась за почтой. Все было как всегда — каждый вечер в дверь стучал почтальон, каждый вечер Уилсон спус-

калась за почтой, каждый вечер было одно письмо для мисс Барретт. Но сегодня письмо было не такое, как всегда. Письмо было совсем другое. Флаш это сообразил прежде, чем мисс Барретт разорвала конверт. Он это понял по тому, как мисс Барретт взяла письмо; повертела; посмотрела на энергический, неровный разлет ее имени. Он это понял по немислимой дрожи пальцев, по стремительности, с какой был взорван конверт, по сосредоточенности, с которой она читала. Он смотрел на нее, пока она читала. И пока она читала, он услышал — как слышим мы сквозь дрему среди уличных шумов звон колокола и знаем, что это для нас он звонит — грозно, хоть едва различимо, будто кто-то далекий взялся нас разбудить, предостеречь о пожаре, о грабеже, предостеречь об опасности, и мы в ужасе вздрагиваем и просыпаемся, — так и Флаш, пока мисс Барретт читала маленькую измаранную страничку, услышал колокол, будящий его, предостерегающий, что покой его под угрозой и что теперь не до сна. Мисс Барретт прочла письмо быстро; она прочла письмо медленно; она бережно вложила его обратно в конверт. Ей тоже было не до сна.

Через несколько дней Уилсон опять принесла на подносе письмо. Опять мисс Барретт прочла его быстро, прочла его медленно, читала снова и снова. И бережно положила его, не в ящик, где копились щедрые строки мисс Митфорд, — но отдельно. Флаш теперь расплачивался сполна за те долгие годы, когда он изощрял свою восприимчивость, лежа на подушках у ног мисс Барретт. Он умел читать знаки, которых, кроме него, никто даже не замечал. По касанию пальцев мисс Барретт он понимал, что она только и ждет — когда постучит почтальон, когда принесут письмо на подносе. Вот она — легонько, мерно — гладила его; вдруг — внизу стучали — пальцы ее сжимались; и его держали в тисках, пока Уилсон поднималась по лестнице. Потом мисс Барретт брала письмо, а его отпускала и забывала.

А впрочем, утешал он себя, чего ему бояться, раз жизнь мисс Барретт не изменилась? А жизнь ее не изменилась. Не появлялось новых гостей. Мистер Кеньон приходил,

как всегда; приходила мисс Митфорд. Приходили братья и сестры; а вечером приходил мистер Барретт. Они ничего не замечали, ничего не подозревали. И он успокаивал себя, он убеждал себя, когда прошло несколько дней без этого конверта, что враг отступил. Человек в плаще, виделось ему, скрытый под капюшоном, исчез; как грабитель, ломился в дверь, наткнулся на стражу и, побежденный, канул во тьму. Опасность, старался уговорить себя Флаш, миновала. Тот — неизвестный — исчез. И вот снова пришло письмо.

Письма приходили все чаще и чаще, каждый день, и Флаш стал замечать перемены в мисс Барретт. Впервые на памяти Флаша она сделалась беспокойна и раздражительна. Она не могла ни читать, ни писать. Стояла у окна и смотрела на улицу. Допытывалась от Уилсон, какая погода. Ветер все еще восточный? Заметна ли уже в парке весна? Ох, куда там, отвечала Уилсон; ветер резкий, восточный. И мисс Барретт, чувствовал Флаш, испытывала сразу и облегчение и досаду. Она кашляла. Она жаловалась на недомогание — но не такое недомогание, как всегда у нее при восточном ветре. А потом, оставшись одна, она снова перечла вчерашнее письмо. Письмо было длиннее, чем все предыдущие. Много страниц — и все сплошь исписанные, измаранные, исчерканные странными угловатыми значками. Это-то Флаш мог разглядеть со своего места у ее ног. Но того не мог он понять, что это тихонько бормочет мисс Барретт. Он только ощутил ее волнение, когда, дойдя до конца страницы, она громко (хоть невнятно) прочла: «Как Вы думаете, смогу я Вас увидеть через месяц, через два месяца?»

А потом она взяла перо и стала быстро и нервно водить по странице, потом по другой и по третьей. Но что они значили — словечки, которые выводила мисс Барретт? «Скоро апрель. А потом будет май, и будет июнь, если мы доживем, и, быть может, тогда... Да, я увижусь с Вами, когда теплые дни слегка подкрепят мои силы... Но сначала мне будет страшно — хоть мне и не страшно Вам это писать. Вы —

Парацельс\*, я же затворница, и нервы мои терзали на дыбе, и теперь они бессильно висят и дрожат, от шага, от вдоха...»

Флаш не мог прочесть того, что она писала в нескольких дюймах от его головы. Но он понимал совершенно точно, будто прочел все от слова до слова, как странно волнуется над письмом его хозяйка; какие противоречивые желанья ее раздирают — чтоб настал апрель; чтоб апрель вовсе не настаивал; поскорей увидеть этого незнакомого человека; вовсе его не увидеть. Флаш тоже дрожал — от шага, от вдоха. И неотвратно катились дни. Ветер вздувал шторы. Солнце белило бюсты. На конюшне пела птица. «Свежие цветы, свежие цветы!» — кричали разносчики на Уимпол-стрит. И все звуки, он знал, означали, что скоро апрель, а потом будет май и ничем не удержать этой грозной весны. Что принесет она? Что-то страшное — что-то жуткое, чего боялась мисс Барретт, и Флаш тоже боялся. Он теперь вздрагивал при звуке шагов. Но нет, это оказывалась просто Генриетта. Стучали. Это оказывался просто мистер Кеньон. Так прошел апрель; и первые двадцать дней мая. И вот двадцать первого мая Флаш понял, что день настал. Ибо во вторник, двадцать первого мая, мисс Барретт испытующе разглядывала себя в зеркале; живописно куталась в индийскую шаль; попросила Уилсон придвинуть кресло поближе, но нет, не так близко; перебирала то одно, то другое и все забывала; и очень прямо села среди подушек. Флаш замер у ее ног. Оба, наедине, ждали. Наконец часы на Марилебондской церкви пробили два; оба ждали. Потом часы на Марилебондской церкви пробили один удар — была половина третьего; и когда замер этот один удар, внизу — смелый — раздался стук. Мисс Барретт побелела; она затихла. Флаш тоже затих. Все выше раздавались неумолимые, грозные шаги; все выше — Флаш знал — поднимался тот, страшный, полуночный, под капюшоном. Вот уж рука его на дверной ручке. Ручка повернулась. Он стоял на пороге.

\* Парацельс (наст. имя — Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст Гогенгейм, 1493—1541) — врач и естествоиспытатель, герой поэмы Роберта Браунинга, написанной в 1835 г.



Роберт Браунинг (1812—1889)

— Мистер Браунинг,— сказала Уилсон.

Флаш смотрел на мисс Барретт. Он видел, как кровь бросилась ей в лицо; как глаза у нее расширились и губы раскрылись.

— Мистер Браунинг! — вскрикнула она.

Теребя в руках желтые перчатки, мигая, элегантный, властный, резкий, мистер Браунинг шагнул в комнату. Он схватил руку мисс Барретт, упал в кресло возле кушетки. И сразу оба заговорили.

Обидней всего, что, пока они говорили, Флаш чувствовал себя совершенно лишним. Раньше ему казалось, что они с мисс Барретт вместе, вдвоем в пещере у костра. Теперь костра не было в пещере; было темно и сыро; мисс Барретт из пещеры ушла. Он посмотрел вокруг. Все переменялось — полка, бюсты; они уже не были добрыми хранителями-пена-тами, глядели строго, чуждо. Он переменял позу в ногах

у мисс Барретт. Она не заметила. Он заскулил. Они не услышали. Тогда он затих и страдал уже молча. Шел разговор; но не тек, не струился, как всегда струился и тек разговор. Он скакал и прыгал. Запинался и снова прыгал. Флаш еще не слыхивал у мисс Барретт такого голоса — бодрого, звенящего. Щеки у нее горели, как никогда не горели прежде; большие глаза сияли, как никогда еще не сияли у нее глаза. Пробило четыре; а они все говорили. Потом пробило половину пятого. Тут мистер Браунинг вскочил. Ужасной решимостью, отчаянною смелостью веяло от каждого его жеста. Вот он стиснул руку мисс Барретт; схватил шляпу, перчатки; простился. Они слышали, как сбежал он по лестнице. Дверь — резко — хлопнула. Он ушел.

Но мисс Барретт не откинулась на подушки, как откидывалась, когда уходил мистер Кеньон или мисс Митфорд. Она сидела прямо; глаза у нее горели; щеки пылали; будто мистер Браунинг еще оставался тут. Флаш ткнул носом ей в ногу. Вдруг она о нем вспомнила. Легонько, весело потрепала по голове. И с улыбкой, очень странно так, на него поглядела — как бы желая, чтобы он заговорил, как бы считая, что и он чувствует то же, что она. А потом засмеялась, жалеючи его, словно это уж так глупо, — Флаш, бедняжка Флаш — где ему чувствовать то, что она чувствовала. Разве мог он понять то, что она понимала. Никогда еще не разделяла их такая мрачная пропасть. Он лежал рядом, а она не замечала; будто его тут и не было. Она забыла о его существовании.

И цыпленка своего она в тот вечер обглодала до косточек. Ни кусочка картошки, ни кожицы не бросила Флашу. Когда, по обычаю, явился мистер Барретт, Флаш не мог надивиться его тупости. Он сидел в том же кресле, в котором сидел этот человек, опирался на ту же подушку, на которую тот опирался, и — ничего не заметил. «Неужели ты не знаешь, — дивился Флаш, — кто тут только что сидел? Неужели ты его не чуешь?» Ибо, по мнению Флаша, от всей комнаты разило мистером Браунингом. Запах взлетал над книжной полкой, взвихрялся, кустился вокруг пяти бледных лбов. А мрачный



человек сидел возле дочери, целиком погруженный в себя. Ничего не замечал. Ничего не подозревал. Ошеломленный его тупостью, Флаш скользнул мимо него — прочь из комнаты.

Но несмотря на свою удивительную слепоту, даже родные мисс Барретт через несколько недель стали замечать перемены в мисс Барретт. Она теперь выходила из спальни и сидела в гостиной. А потом она сделала то, чего давным-давно уж не делала,— на своих собственных ногах дошла с сестрой до самых ворот на Девоншир-Плейс. Друзей, членов семьи поражало ее исцеление. И только Флаш знал, откуда у нее силы — они шли от темноволосого человека в кресле. Он приходил еще и еще. Сперва раз в неделю; потом два раза в неделю. Приходил всегда днем и до вечера уходил. Мисс Барретт всегда его принимала наедине. А в те дни, когда он не приходил, приходили от него письма. А когда он уходил, оставались от него цветы. А по утрам, когда она бывала одна, мисс Барретт к нему писала. Смуглый, подтянутый, резкий, бодрый, со своими черными волосами, румяными щеками и своими желтыми перчатками — этот человек был повсюду и во всем. Разумеется, мисс Барретт воспрянула, естественно, она теперь ходила. Флашу самому стало невозможно лежать. Воротилось давнее томленье; им овладела новая тревога. Его одолевали сны. Забытые сны, не снившиеся ему со времен Третьей Мили. Зайцы прыскали из высокой травы; вея длинными хвостами, взмывали фазаны; вспархивали, шурша, над жнивьем куропатки. Во сне он охотился, гнался за пестрым спаниелем, и тот убегал, ускользал от него. Он был в Испании; был в Уэльсе; он был в Беркшире; он спасался от зрителей, размахивавших дубинками в Риджентс-парке. Он открывал глаза. Не было зайцев; не было куропаток; не свистел хлыст, темнолицые не кричали: «Спан! Спан!» Только мистер Браунинг сидел рядом, в кресле, и беседовал с мисс Барретт.

Невозможно было спать спокойно, когда этот человек сидел рядом. Флаш лежал с открытыми глазами, он слушал. Он, конечно, не понимал, какой такой смысл в этих словах,

которые прыгали у него над головой с половины третьего до половины пятого, иногда и по три раза в неделю, но ему открывалось с мучительной ясностью, что тон их менялся. Сперва у мисс Барретт голос был напряженный и уж слишком звенел. Теперь в нем звучали тепло и легкость, каких Флаш не слыхивал прежде. И каждый раз, когда являлся этот человек, что-то новое звучало в их голосах; вот они нелепо стрекотали; вот реяли над ним, как парящие птицы; вот ворковали и кудахтали, как птицы в гнездышке; вот голос мисс Барретт снова взмывал, и парил, и кружил в поднебесье; и голос мистера Браунинга взрывался хриплым, резким смешком, и потом — бормотанье, жужжанье, и голоса сливались. Но когда кончилось лето и наступила осень, Флаш, терзаясь ужасным предчувствием, уловил еще новую нотку. В мужском голосе обнаружилась требовательность, настойчивость, напор, которого, Флаш понял, испугалась мисс Барретт. Голос ее метался; дрожал; словно спотыкался, выдыхался, молил, захлебывался, и будто она просила об отдыхе, об остановке, будто она чего-то боялась. И тогда тот умолкал.

Его они почти вовсе не замечали. Можно подумать, бездушное бревно лежало в ногах у мисс Барретт, — так много внимания уделял ему мистер Браунинг. Иногда, мимоходом, он трепал его по заливке энергическим, быстрым, резким жестом, безо всякого чувства. Неизвестно, что вкладывал в свой жест мистер Браунинг, но Флаш не испытывал ничего, кроме острой к нему неприязни. Один вид этого господина — подтянутого, эlegantного, крепкого, вечно теребящего желтые перчатки, — один его вид выводил Флаша из себя. О! С каким бы счастьем он вонзился ему в брюки зубами! И сжал бы их, сомкнул! Но вот — Флаш не решался. Короче говоря, в жизни еще никогда так не маялся Флаш, как зимой сорок пятого — сорок шестого годов.

Зима прошла; и снова настала весна. Флаш не видел конца этой истории; и все же, в точности как река хоть и отражает недвижные деревья, и коров на лугу, и возвращающихся в гнезда грачей, но неизбежно катится к водово-

роту, так и эти дни, Флаш знал, неслись к катастрофе. На Флаша веяло воздухом перемен. Иногда ему чудилось, что надвигается всеобщий исход. В доме чувствовалось смутное оживление, обычно предвещающее — возможно ли? — путешествие. В самом деле, с саквояжей смахивали пыль и — как ни поразительно — их открывали. Но потом их закрывали опять. Нет, семейство никуда не собиралось двигаться. Как обычно, приходили и уходили братья и сестры. В обычный час, по уходе этого человека, являлся с ежевечерним визитом мистер Барретт. Да, но что же готовилось? Ибо к концу лета сорок шестого года Флаш совершенно уверился в том, что готовятся перемены. Он заключил это по еще новым ноткам в вечных их голосах. Голос мисс Барретт, прежде робкий, молящий, перестал запинаться. Он зазвенел решимостью и смелостью, каких Флаш не слыхивал прежде. Послушал бы мистер Барретт, каким тоном приветствовала она захватчика, каким смехом его встречала, с каким возгласом он пожимал ее руку! Но в комнате с ними не было никого, кроме Флаша. Он ужасно страдал из-за этих перемен. Мисс Барретт не только иначе относилась теперь к мистеру Браунингу, она и вообще ужасно переменялась; и она переменялась к Флашу. Она теперь пресекала его заигрывания; она высмеивала его ласки, она давала ему понять, что есть нечто глупое, смешное, преувеличенное в его привычном обращении с ней. Она уязвляла его тщеславие. Она разожгла его ревность. В конце концов, уже в июле, он решился на отчаянную попытку вернуть ее расположение и, быть может, изгнать пришлеца. Собственно, он не знал, как осуществить свою двойную цель, и никаких планов не строил. Но восьмого июля он вдруг совладал с собой. Он бросился на мистера Браунинга и дико вцепился в него зубами. Вот они сомкнулись на чеканной брючине мистера Браунинга! Но мышцы под брючиной оказались крепкими как железо — нога мистера Кеньона была по сравнению с ними мягче масла. Мистер Браунинг небрежно смахнул его со своей ноги и продолжал говорить. Оба они с мисс Барретт, казалось, не обратили никакого

внимания на его выпад. Совершенно разбитый, побежденный, обезоруженный, Флаш рухнул на подушки, задыхаясь от ярости и разочарования. Однако насчет мисс Барретт он ошибся. Как только мистер Браунинг ушел, она поманила его к себе и подвергла самой страшной каре. Сперва она оттащила его за уши — но это пустяки; боль от ее руки была ему даже приятна. А потом она сказала обычным тоном, не повышая голоса, что никогда больше не будет его любить. И сердце ему пронзила стрела. Столько лет они прожили вместе, делили судьбу, и вот из-за одного неосторожного шага она никогда больше не будет его любить. Потом, будто подчеркивая неизменность своего решения, она занялась цветами, которые ей принес мистер Браунинг. Она действовала, Флаш понял, с рассчитанной и намеренной злостью; она хотела ему доказать все его ничтожество. «Эта роза от него, — словно говорила она, — и эта гвоздика. Пусть желтое сияет рядом с красным; а красное — рядом с желтым. А сюда пусть ляжет зеленый листик — вот так». И, поставив цветок к цветку, она отступила ими полюбоваться, будто перед ней был он сам, человек в желтых перчатках, — огромным ярким букетом. Однако как ни была она поглощена цветами, не могла же она вовсе не замечать, как неотступно смотрел на нее Флаш. Она не могла не видеть «выражения страстной тоски в его взоре». И она не могла не смягчиться. «В конце концов я сказала: «Если ты хорошая собачка, Флаш, поди ко мне, попроси прощенья». И он бросился ко мне через всю комнату, он дрожал, он поцеловал мне одну руку, потом другую, он протягивал мне лапы для пожатия и заглядывал мне в лицо таким умильным взором, что и Вы простили бы его, как я простила». Так отчитывалась она мистеру Браунингу; и, разумеется, тот ответил: «О бедняга Флаш, неужто Вы думаете, я не уважаю и не ценю его ревнивого надзора — и не понимаю, как трудно ему принять в сердце другого, уже приняв в сердце Вас». Легко было мистеру Браунингу выказывать великодушие, и это легкое великодушие, наверное, больше всего уязвляло Флаша.

Еще одно досадное происшествие несколько дней спустя напомнило о том, как бьются отныне не в лад их сердца, как мало может теперь Флаш рассчитывать на участие мисс Барретт. Однажды, после ухода мистера Браунинга, мисс Барретт вздумалось поехать с сестрой в Риджентс-парк. У самых ворот парка дверцей кареты Флашу прищемило лапу. Он «жалобно взвыл» и протянул лапу мисс Барретт, чтоб она его пожалела. В былые времена она и по менее серьезному поводу стала бы бурно изливаться на него свою жалость. А тут она посмотрела на него отвлеченным, насмешливым, критическим взглядом. Она над ним насмеялась. Она решила, что он притворяется. «... Едва он оказался на травке, он стал носиться, решительно про все позабыв», — писала она. И саркастически поясняла: «Флаш вечно преувеличивает свои невзгоды. Он приверженец байронической школы — *il se pose en victime*»\*. Но мисс Барретт, поглощенная собственными переживаниями, глубоко в нем ошиблась. Да пусть бы он даже и сломал лапу, он все равно бы скакал и носился. То был ответ на ее насмешку; меж ними все кончено — вот что бросал он ей на бегу. Цветы пахли горечью; трава обжигала лапы; вместе с пылью ноздри забивало обидой. А он прыгал, он скакал. «Собаки должны ходить только на цепи». Та же табличка торчала у входа; и так же подтверждали ее зрители в цилиндрах, размахивая дубинками. Но что для него теперь значило это «должны»! Он никому ничего не был должен. Порвалась цепь любви. Он будет носиться где ему вздумается; гонять куропаток; гонять спаниелей; врубаться в заросли далий; крушить сплошное сверканье красных и желтых роз. Пусть зрители размахивают дубинками. Пусть размозжат ему череп. Он рухнет мертвый и окровавленный к ногам мисс Барретт. Ему все равно. Но разумеется, ничего такого не случилось. Никто его не преследовал; никто его не заметил. Одиноким зритель болтал со скупливой нянькой. И в конце концов он затрусил к мисс Барретт, и она рассеянно взяла его на поводок и повела домой.

\* он вечно изображает из себя жертву (*франц.*).

После двух таких унижений дух заурядной собаки — дух заурядного человека даже — был бы, наверное, сломлен. Но у Флаша, при всей его мягкости и шелковости, был сверкающий взор; страсти не только вспыхивали в нем ярким пламенем, но порою упорно тлели. Он задумал сойтись с недругом лицом к лицу и один на один. Чтоб никто не мог помешать решительной схватке. В посредниках он не нуждался. И вот во вторник 21 июля он скользнул по лестнице вниз и затаился в прихожей. Ждать пришлось недолго. Скоро он услышал на улице знакомые шаги; услышал знакомый стук в дверь. Мистера Браунинга впустили. Смутно подозревая о готовящемся выпаде и полный самых мирных намерений, мистер Браунинг запасся кульком бисквитов. Флаш ждал в прихожей. Мистер Браунинг предпринял, кажется, невинную попытку его погладить; быть может, он себе позволил предложить ему бисквит. Одного жеста было достаточно. С беспримерной яростью Флаш кинулся на врага. Еще раз сомкнулись его зубы на брючине мистера Браунинга. Но увы, от волнения он забыл о самой главной посылке успеха — о молчании. Он залаял; с громким лаем кинулся он на мистера Браунинга. Только и всего. Поднялась суматоха. Уилсон бросилась вниз. Уилсон надавала ему тумаков. Уилсон одержала над ним бесспорную победу. Она с бесчестьем увела его прочь. Какое бесчестье — напасть на мистера Браунинга и потерпеть поражение от руки Уилсон! Мистер Браунинг и пальцем не двинул. Унося с собой свои бисквиты, мистер Браунинг, невредимый, незабываемый, с совершенным хладнокровием поднимался по лестнице к мисс Барретт — один. Флаша увели прочь.

Отбыв два с половиной часа в позорном заточенье среди жуков, попугаев, папоротников и кастрюль — на кухне, Флаш предстал перед мисс Барретт. Она лежала на кушетке, с ней рядом была ее сестра — Арабелл. Уверенный в правоте своего дела, Флаш направился прямо к хозяйке. Но она и не взглянула на него. Она повернулась к Арабелл. Она сказала только: «Гадкий Флаш, уходи». Уилсон была тут как тут — ужасная, неумолимая Уилсон. И у нее-то черпала

свои сведения мисс Барретт. Она побила его, заявила Уилсон, «стало быть, так ему следует». И побила она его, добавила Уилсон, только рукой. И по свидетельству этой Уилсон Флаша признали виновным. Нападение, сочла мисс Барретт, ничем не было вызвано; мистер Браунинг в ее глазах был само великодушие, сама добродетель; а Флаш был избит служанкой, без хлыста, «стало быть, так следует». Что тут еще скажешь? Мисс Барретт осудила его. «И он лег на пол у моих ног,— писала она,— и стал смотреть на меня исподлобья». Но смотри не смотри, мисс Барретт даже взглянуть на него не желала. И вот она лежала на кушетке; а Флаш лежал на полу.

Пока он так лежал, в изгнании, на ковре, душа его попала в тот бурный водоворот чувств, который может бросить ее на камни, и тогда душа разобьется, но если, найдя опору, она медленно, с мукой воспрянет, выберется на сушу, она вознесется тогда над всеобщим развалом, чтобы озирать с новой точки заново сотворенный мир. Быть или не быть обновлению? Вот в чем вопрос. Мы можем лишь в общих чертах проследить борения Флаша. Ибо они совершались в безмолвии. Дважды Флаш шел на все, чтобы сразить врага; и дважды терпел поражение. Почему же он терпел поражение? — спрашивал себя Флаш. Потому, что он любил мисс Барретт. Глядя на нее исподлобья, пока она лежала на кушетке — суровая, молчащая,— он понимал, что он будет любить ее вечно. Но все не так-то просто устроено. Все устроено сложно. Кусая мистера Браунинга, он кусает и ее. Ненависть — не только ненависть; ненависть — еще и любовь. Тут Флаш, совершенно запутавшись, передернул ушами. Он стал беспокойно ворочаться на полу. Мистер Браунинг — это мисс Барретт; мисс Барретт — это мистер Браунинг; любовь — это ненависть, и ненависть — это любовь. Он потянулся, заскулил и поднял голову. Часы пробили восемь. Больше трех с половиной часов пролежал он тут, терзаясь неразрешимыми противоречиями.

Даже мисс Барретт, суровая, холодная, неумолимая, положила перо. «Гадкий Флаш! — писала она в эту минуту

мистеру Браунингу.— ...Если кто-то, вроде Флаша, ведет себя необузданно, как собака, пусть и расплачивается, как всегда расплачиваются собаки. Но Вы-то, Вы, как были с ним добры и терпимы! Любой бы другой на Вашем месте хоть обругал бы его». Да, подумала она, неплохо бы завести намордник. Но тут она подняла глаза от бумаги и заметила Флаша. Что-то необычное в его взгляде, наверное, поразило ее. Она перестала писать. Она положила перо. Когда-то он разбудил ее поцелуем и показался ей Паном. Он съедал ее цыпленка и этот рисовый пудинг со сливками. Он пожертвовал ради нее солнечным светом. Она подозвала его и сказала, что он прощен.

Но снискать прощение, словно он не сделал ничего ужасного, опять лежать на кушетке, как если бы он не пережил всех своих мук на полу и остался прежним, тогда как он стал совершенно новой собакой, было для Флаша невыносимо. Сначала, усталый, истерзанный, Флаш покорился мисс Барретт. Но несколько дней спустя меж ними произошла знаменательная сцена, доказавшая всю глубину его чувств. Мистер Браунинг был и ушел; Флаш остался наедине с мисс Барретт. Обычно он сразу прыгал на кушетку и ложился у ее ног. Теперь же, вместо того чтоб вскакивать к ней и требовать от нее ласки, Флаш подошел к креслу, ныне именуемому «креслом мистера Браунинга». Обычно он питал отвращение к этому креслу; оно еще хранило облик врага. Но теперь, после одержанной им победы над собой, он исполнился такого великодушия, что не просто посмотрел на кресло, но, глядя на него, «вдруг пришел в восторг». Мисс Барретт, пристально за ним следившая, уловила этот удивительный знак. Далее он перевел взгляд на стол. На столе все еще лежал кулек с бисквитами мистера Браунинга. «Он напоминал мне, что Ваши бисквиты лежат на столе». Бисквиты были уже старые, зачерствелые и лишены всякой физической привлекательности. Намерения Флаша были очевидны. Он отказался от бисквитов, от свежих бисквитов, ибо его угощал враг. Он хотел съесть их теперь, уже черствыми, ибо угощал его враг, превратившийся в друга, ибо они стали



символом ненависти, превращенной в любовь. Да, он ясно давал понять, что хочет их съесть. И мисс Барретт встала и взяла в руки кулек. И, кормя Флаша бисквитами, она его наставляла. «Я ему объяснила, что Вы ему их принесли, и ему должно быть стыдно; что он вел себя гадко; что он должен Вас любить и впредь не кусать, и уж потом позволила ему воспользоваться Вашей добротой». И, заглатывая отвратительное тесто — заплесневелое, засиженное мухами, ужасно невкусное,— Флаш торжественно повторял на своем языке слова, которые она ему говорила: он клялся любить мистера Браунинга и впредь не кусать.

Тотчас он был вознагражден — не черствыми бисквитами, не крылышком цыпленка, не ласками, в которых теперь у него не было недостатка, не дозволением снова лежать на кушетке у ног мисс Барретт. Он был вознагражден духовно; хоть странным образом, результат был физически осязаем. Как ржавый железный брус, губящий и портящий под собой все живое, лежала на душе его ненависть. И вот с болью, острым ножом хирурга железо было извлечено. И вновь бежала по жилам кровь; трепетали нервы; затянулась рана. Флаш снова слышал, как поют птицы; чувствовал, как растет на деревьях листва. Он лежал на кушетке у ног мисс Барретт и радовался и блаженствовал. Он был теперь с ними, не против них; он делил их надежды, мечты, их желанья. Ему хотелось лаять хором с мистером Браунингом. От коротеньких, резких слов у него дыбом вставала холка. «Мне нужно, чтобы всю неделю был вторник — весь месяц — весь год — всю жизнь!» — кричал мистер Браунинг. «И мне, и мне, — вторил ему Флаш. — Весь месяц, весь год, всю жизнь! Мне нужно все то же, что и вам обоим. Мы все служим общему благородному делу. Нас объединяет общая цель. Нас объединяет общая ненависть. Борьба против мрачной, тупой тирании. Нас объединяет общая любовь». Короче говоря, Флаш теперь все надежды возлагал на смутно брезжащий, но однако же верный триумф, на славную победу, которую они все вместе одержат, как вдруг, без малейшего предупреждения, из самого средоточия дружбы, безопасности и куль-

туры — он был в магазине на Вир-стрит, с мисс Барретт и ее сестрой, утром во вторник первого сентября — его ввергли в непроглядную тьму. Дверь застенка захлопнулась. Его украли.

#### *Глава четвертая*

### Уайтчепел

«Сегодня утром мы с Арабелл взяли его с собой,— писала мисс Барретт,— и поехали на Вир-стрит, кое-что купить, и он вместе с нами входил в лавку и вышел и был рядом со мной, когда я садилась в карету. Я повернулась, сказала: «Флаш», и тут Арабелл стала озираться, искать его — Флаш исчез! Его схватили, выхватили буквально из-под колес, можете ли Вы это понять?» Мистер Браунинг отлично мог понять. Мисс Барретт забыла поводок; и Флаша украли. Таков был в 1846 году закон Уимпол-стрит и прилегающих улиц.

Правда, нигде, кажется, вы не чувствовали себя в такой безопасности, как на солидной, положительной Уимпол-стрит. Если вы еле передвигали ноги или катили в инвалидном кресле, взор ваш не встречал ничего, кроме лестной перспективы четырехэтажных домов, цельных окон и дверей красного дерева. Даже и в карете, запряженной парой, во время вечерней прогулки при осмотрительном кучере вам не приходилось нарушать границ приличия и благопристойности. Но если вы не были инвалидом, если вы не имели кареты, запряженной парой, если вы были — а многие были же — здоровы, бодры и не прочь прогуляться пешком,— тогда вы могли услышать, увидеть и обонять такое, и совершенно рядом с Уимпол-стрит, что ставило под сомнение положительность даже и самой Уимпол-стрит. К такому выводу пришел мистер Томас Бимз, когда приблизительно в ту пору ему взбрело в голову прогуляться пешком по Лондону. Он был удивлен; он был просто шокирован. Роскошные

здания поднимались в Вестминстере; но тут же, рядом, громоздились ветхие сараи, где люди ютились прямо над скотом «по двое на каждых семи футах». Он понял, что обязан поведать об увиденном. Но как описать изящным слогом спальню, где несколько семей теснятся вместе над коровником, а коровник не проветривается, а коров доят, режут и едят прямо под спальней? Для этой задачи, скоро понял мистер Бимз, не хватило бы всех богатств нашего родного языка. И все же он счел своим долгом описать то, что он увидел во время вечерних прогулок по самым аристократическим приходам Лондона. Ведь так недолго и тиф подхватить! Состоятельные люди и не подозревали об опасностях, каким подвергались. Он решительно не мог умолчать о том, что обнаружил в Вестминстере, Паддингтоне, Марилебонде. Здесь стоял, например, особняк, прежде принадлежавший вельможе. Сохранились остатки мраморного камина. Были панели на стенах и перила с тонкой резьбой; но полы прогнили, стены покрылись разводами, толпы полуголых мужчин и женщин нашли прибежище в прежней пиршественной зале. Он двинулся дальше. Здесь предприимчивый подрядчик снес дворянский особняк и на месте его наскоро соорудил доходный дом. Крыша протекала, в стены дуло. Мистер Томас Бимз увидел дитя, совавшее кружку под ярко-зеленую струю, и спросил, пьют ли эту воду. Да, и в ней же еще и мылись, ибо хозяин разрешал включать воду только дважды в неделю. И самое поразительное, что на подобные зрелища вы натыкались в самых почтенных и культурных кварталах Лондона — «в самых аристократических приходах». Позади спальни мисс Барретт, кстати, были мерзейшие из лондонских трущоб. Рядом с такой почтенностью — и такое неприличие.

Но были, разумеется, и кварталы, в которых бедняков безраздельно предоставляли самим себе. В Уайтчепел или на треугольнике, зачинающем Тоттнем-Корт-Роуд, нищета и порок веками кишели и множились без чужого надзора. Плотная масса мрачных старых домов на Сент-Джайлз была «как бы колонией преступников, как бы метрополией

отверженных». И весьма метко скопление трущоб прозывалось «Грачевником». Ибо люди лепились там, как лепятся на деревьях сплошной черной тучей грачи. Только вот дома тут не напоминали деревьев; впрочем, они и на дома были не очень похожи: кирпичные клетки, перемежаемые грязными проулками. День-деньской жужжала в проулках толпа полуголых существ; вечерами тек восвояси поток воров, нищих и шлюх, пробавляющихся своим ремеслом в Уэст-Энде. Полиция ничего не могла с ними поделать. Одиноким прохожий тоже мог лишь ускорить шаг да бросить намек на ходу, — как, скажем, мистер Бимз, смягчив его цитатами, умолчаниями и эвфемизмами, — что все тут, в общем, не в точности так, как хотелось бы видеть. Надвигалась холера, и, кажется, ее намек был не столь деликатен.

Но в 1846 году этот намек еще не был брошен; и жителям Уимпол-стрит и прилегающих улиц оставалось одно — строго держаться респектабельной зоны и водить своих собак на поводке. Забудете поводок, как забыла мисс Барретт, — значит, заплатите выкуп, как надлежало его заплатить и мисс Барретт. Условия, на которых Уимпол-стрит сосуществовала с Сент-Джайлз, отстоялись достаточно четко. На Сент-Джайлз воровали, что могли; на Уимпол-стрит платили, что полагалось. Потому-то Арабелл сразу «стала меня утешать, убеждая, что непременно его вызволю не более чем за десять фунтов». Десять фунтов была цена, которую мистер Тэйлор взимал, кажется, за кокер-спаниелей. Мистер Тэйлор был главарь шайки. Стоило даме с Уимпол-стрит потерять собачку, и она обращалась к мистеру Тэйлору, он назначал цену, и ему платили; если же нет, несколько дней спустя на Уимпол-стрит отправляли в оберточной бумаге собачью голову и лапы. Так, по крайней мере, было с одной дамой по соседству, которой вздумалось оспаривать условия мистера Тэйлора. Но мисс Барретт, разумеется, готовилась заплатить все сполна. И как только пришла домой, она призвала своего брата Генри, и брат Генри в тот же день отправился к мистеру Тэйлору. Он застал его «с сигарой в зубах, в кресле, посреди картин» —

мистер Тэйлор, говорили, тысячи две-три в год наживал на собаках, — и мистер Тэйлор обещал обсудить дело в «Обществе» и завтра же собаку вернуть. Как бы ни было это обидно и особенно некстати, когда мисс Барретт следовало беречь деньги, — забывая про поводок в 1846 году, вы неизбежно расплачивались за свою оплошность.

Но не так обстояло дело для бедного Флаша. Флаш, рассудила мисс Барретт, «не знает, что мы его вызволим»; Флаш ведь так и не усвоил законов человеческого общежития. «Он всю ночь будет скулить и тосковать, я уверена», — писала мисс Барретт мистеру Браунингу во вторник вечером первого сентября. Но пока мисс Барретт писала мистеру Браунингу, Флаш подвергался самому тяжкому испытанию в своей жизни. Он совершенно потерялся. Только что он был на Вир-стрит среди лент и кружев, и вот его сунули головой в мешок; потрясли по улицам и наконец вышвырнули — здесь. Он очутился в кромешной тьме. Он очутился в холоде, в сырости. Когда прошло головокружение, он кое-что разглядел в темной комнате — сломанные стулья, продавленный матрац. Потом его схватили и крепко привязали за ногу к какой-то перегородке. Что-то ползало по полу — человек или зверь, он не мог бы сказать. Туда-сюда шныряли грубые башмаки и грязные юбки. Мухи жужжали над кусками гниющего мяса. Дети повыползали из темных углов и стали таскать его за уши. Он заскулил, и его огрели тяжелой рукой по голове. Он прижался к стене и затих на мокрых плитах. Теперь он разглядел, что в комнате полно собак. Они рвали друг у друга и оспаривали зловонную кость. У них выпирали ребра. Голодные, грязные, больные, нечесанные, жалкие — все они до одной, видел Флаш, были собаки благороднейшего происхождения, привычные к поводку и к лакеям, как сам он.

Час за часом лежал он так, не смея даже скулить. Больше всего мучила его жажда; но едва лизнув мутную зеленоватую жидкость из ведра, которое стояло рядом, он сразу ощутил омерзение; он предпочитал умереть, но не прикасаться к ней больше. И однако величаявая борзая жадно припала

к ведру. Чуть только распахивалась дверь, он поднимал глаза. Мисс Барретт? Она? Пришла наконец? Но нет, то лишь волосатый бандит, распахав всех ногами, прошлепал к поломанному стулу и плюхнулся на него. Потом постепенно сгустилась тьма, Флаш уже еле различал фигуры на полу, на матрасе, на сломанном стуле. На каминной полке торчал свечной огарок. Пламя блестело в сточной канаве за окном. В его грубом поддрагивающем свете Флаш видел, как жуткие лица мелькали снаружи, скалясь, припадали к окну. Вот они вошли, и в тесной комнате стало до того тесно, что Флаш совсем вжался в стену. Страшные чудища — одни в лохмотьях, другие в кричащих перьях и размалеванные — рассаживались прямо на полу, толклись у стола. Стали пить; ругались и дрались. Из-за наваленных мешков повывлезали еще собаки: болонки, сеттеры, пойнтеры — и все в ошейниках; а громадный какаду метался из угла в угол и орал: «Попка — дурак! Попка — дурак!» — с такими простецкими модуляциями, которые ужаснули бы его хозяйку, вдову на Мейда-Вейл. Потом женщины открыли сумочки и высыпали на стол браслеты, кольца и брошки вроде тех, что Флаш видел на мисс Барретт и на мисс Генриетте. Страшные женщины щупали их и хватали; ругались и спорили из-за них. Орала дети, и великолепный какаду — Флаш часто видел этих птиц в окнах на Уимпол-стрит — орал: «Попка — дурак! Попка — дурак!» — быстрее, быстрее, пока в него не запустили туплей, и он в отчаянии захлопал сизыми желтопятнистыми крыльями. Свеча опрокинулась и погасла. В комнате стало темно. Делалось жарче и жарче; нагнеталась вонь и жара; Флаша мучил зуд; ему щипало нос. А мисс Барретт все не шла.

Мисс Барретт лежала на кушетке на Уимпол-стрит. Она нервничала; она беспокоилась, но не то чтобы изводилась. Конечно, Флаш будет страдать; конечно, он будет скулить и лаять ночь напролет, но ведь все это вопрос нескольких часов. Мистер Тэйлор назначит выкуп; она заплатит; ей возвратят Флаша.

Утро среды второго сентября вставало над трущобами

Уайтчепел. Серый рассвет неспешно вползал в пустые оконницы. Он освещал заросшие лица валявшихся на полу бродяг. Флаш очнулся от забытья, и вновь у него раскрылись глаза на безрадостную действительность. Вот она отныне, действительность — эта комната, и бродяги, и скулящие, стонущие собаки, рвущиеся с короткой привязи, и сырость, и мрак. Неужто это он, Флаш, действительно был в лавке, с дамами, среди лент и кружев, не далее как вчера? Неужто на свете по-прежнему существует Уимпол-стрит? И комната, где сверкает в красной мисочке свежая вода? И это он, Флаш, лежал на подушках; ел дивно зажаренного цыпленка; и, раздираемый злобой и ревностью, укусил человека в желтых перчатках? Вся прежняя жизнь, все чувства улетучились, растаяли и казались уже невысказанными.

Едва в окно просеялся пыльный свет, одна из женщин тяжело поднялась с мешка и, качаясь, вышла за пивом. Снова началась попойка и брань. Какая-то толстуха подняла его за уши, ткнула в ребра и, должно быть, отпустила на его счет унижительную шутку, ибо компания покатила со смеху, когда его опять шмякнули об пол. С шумом распахивалась и хлопала дверь. Он оглядывался. А вдруг Уилсон? Или сам мистер Браунинг? Или мисс Барретт? Нет, то оказывался еще один вор, еще один убийца; он сжимался от одного вида рваных брюк, задубевших башмаков. Он попытался было грызть кость, которую ему швырнули. Но окаменевшее мясо не поддавалось зубам, а в нос бил невозможный запах тухлятины. Жажда вконец его доняла, ему пришлось прилечь к зеленой пролившейся из ведра луже. Но наступал вечер — он все больше страдал от жажды, от духоты, тело ныло на поломанных досках, и постепенно он погружался в тяжелое безразличие. Он уже почти ничего не замечал вокруг. Только когда отворялась дверь, он, встрепенувшись, оглядывался. Нет, опять не мисс Барретт.

Мисс Барретт, лежа на кушетке на Уимпол-стрит, совсем потеряла покой. Что-то было не так. Тэйлор обещал в среду днем пойти на Уайтчепел и посоветоваться с «Обществом». Но прошел день, прошел и вечер среды, а Тэйлор не являл-

ся. Это могло означать лишь одно, думала она: он набивает цену — ужасно теперь нехстати. Но разумеется, все равно она готова платить. «Я должна вернуть Флаша,— писала она мистеру Браунингу,— я не могу подвергать риску его жизнь, торговаться и спорить». Она лежала на кушетке, писала мистеру Браунингу и прислушивалась, не раздастся ли стук в дверь. Но пришла Уилсон с почтой; пришла Уилсон с горячей водой. Пора было спать, а Флаша ей не вернули.

Рассвет четверга третьего сентября встал над Уайтчепел. Отворилась и хлопнула дверь. Рыжего сеттера, скулившего ночь напролет на полу рядом с Флашем, увел бандит в кротовой куртке — и какой же навстречу судьбе? Что лучше — погибнуть или здесь оставаться? Что хуже — эта жизнь или та смерть? Пьяный гам, голод и жажда, отвратительная вонь — а подумать только, Флаш ненавидел некогда запах одеколona — скоро заглушили все мысли, все желания Флаша. В голове кружились обрывки воспоминаний. Не старый ли то доктор Митфорд кличет его в полях? Не Керенхэппок ли болтает за дверью с булочником? Вот что-то затрещало, и ему почудилось, что мисс Митфорд заворачивает пучок герани. Но нет, это только ветер — ведь погода была ненастная — стучал по бумаге в разбитом окне. Только пьяный голос бурлил в сточной канаве. Только старая ведьма бурчала и бурчала в углу, жаря на сковороде селедку. Его забыли, его бросили. И он был так одинок. Никто не разговаривал с ним. Попугаи кричали «Попка — дурак! Попка — дурак!», да канарейки, глупо, не унимаясь, чирикали и щебетали.

И вот снова вечер сгустился в комнате; воткнули в блюдо огарок; грубый свет затрепыхал снаружи; толпы страшных мужчин с заплечными мешками и размалеванных женщин топтались в дверях, толклись у стола, плюхались на продавленные кровати. Снова ночь укрыла тьмою Уайтчепел. А дождь капал, капал сквозь дырявую крышу и, как в барабан, бил в подставленное ведро. Мисс Барретт не пришла.

Над Уимпол-стрит встал рассвет четверга. Флаша не было — не было никаких известий от Тэйлора. Мисс Барретт



растревожилась не на шутку. Она навела справки. Она призвала своего брата Генри и допросила его с пристрастием. Она обнаружила, что он ее обманул. «Мерзавец» Тэйлор приходил накануне вечером, как обещал. Он назвал свои условия — шесть гиней для «Общества» и полгиней ему лично. Но Генри, вместо того чтобы сообщить это ей, сообщил мистеру Барретту, с тем, разумеется, результатом, что мистер Барретт велел ему не платить и скрыть визит Тэйлора от сестры. Мисс Барретт «ужасно досадовала и сердилась». Она умоляла брата тотчас пойти к мистеру Тэйлору и заплатить все сполна. Генри упирался и «говорил про папу». Но какой толк говорить про папу? Пока они говорят про папу, Флаша убьют. Она решилась. Раз Генри не хочет, она пойдет сама, «...если не будет по-моему, я сама завтра утром туда пойду и приведу Флаша», — писала она мистеру Браунингу.

Но скоро мисс Барретт поняла, что не так-то легко это осуществить. Добраться до Флаша оказалось ей почти так же трудно, как Флашу к ней прибежать. Вся Уимпол-стрит против нее сговорилась. Похищение Флаша и условия Тэйлора стали достоянием гласности. Уимпол-стрит решила дать отпор проходимцам с Уайтчепел. Слепой мистер Бойд извещал, что, по его мнению, платить выкуп — «страшный грех». Отец и братья объединились против нее и готовы были на любое предательство в интересах своего класса. Но хуже — гораздо хуже — было то, что мистер Браунинг весь свой вес, весь свой пыл, всю свою ученость, всю логику бросил на сторону Уимпол-стрит, против Флаша. Если мисс Барретт покорится Тэйлору, писал он, она покорится тирании, она покорится вымогательству; она поддержит силы зла против сил добра, порок против невинности. Если она пойдет навстречу условиям Тэйлора... «каково же будет людям бедным, у которых неостанет денег на выкуп их собак?» Воображение его разыгралось; он воображал, что бы сам он сказал Тэйлору, буде Тэйлор с него потребовал хотя бы пять шиллингов. Он бы сказал ему: «Вы отвечаете за безобразия, творимые вашей шайкой, и вам от меня не

уйти — и лучше не говорите мне глупостей насчет отрезанных лап и голов. Не извольте сомневаться, я всю жизнь свою положу на то, чтобы вас обезвредить, это так же верно, как то, что я стою сейчас перед вами, и всеми возможными средствами я буду добиваться гибели вашей и гибели тех из ваших пособников, кого удастся мне обнаружить, но сами-то вы уже мне попались, и вперед я вас не выпущу из виду». Так мистер Браунинг ответил бы Тэйлору, если б имел удовольствие сойтись с этим джентльменом. Ибо, продолжал он, поспев со вторым письмом к следующей почте в тот же четверг, «... страшно подумать, как угнетатели всех рангов могут при желании играть чувствами слабых и безответных, выведав их тайную слабость». Он не порицает мисс Барретт, как бы она ни поступила, он все поймет и простит. И однако, продолжал он в пятницу утром, «... я почел бы это плачевной слабостью...». Поощряя Тэйлора, похищающего собак, она поощряет и Барнарда Грегори, губящего репутации. Косвенным образом она будет ответственна за всех тех несчастных, которые перерезали себе глотку или бежали на чужбину оттого, что какой-нибудь негодяй вроде Барнарда Грегори снял с полки адресную книгу и загубил их репутацию. «Но к чему нанизывать очевидности там, где и без того все яснее ясного?» Так мистер Браунинг бушевал и гремел дважды в день у себя на Нью-Кросс.

Лежа на кушетке, мисс Барретт читала его письма. Как легко было бы уступить, как легко сказать: «Ваше доброе мнение дороже мне сотни кокер-спаниелей». Как легко откинуться на подушки, вздохнуть: «Я слабая женщина; я ничего не смыслю в правах и законах; решите за меня». Всего-навсего не платить выкуп Тэйлору; бросить вызов ему с его «Обществом». А если Флаша убьют, если придет роковой сверток и оттуда вывалятся его голова, его лапы, — с нею рядом будет зато Роберт Браунинг, и он скажет ей, что она поступила похвально и заслужила глубокое его уважение. Но мисс Барретт не оробела. Мисс Барретт взялась за перо и разделала Роберта Браунинга. Вольно ему цитировать Донна, писала она; ссылаться на дело Грегори; сочинять

остроумные отповеди мистеру Тэйлору — она и сама бы вела себя так же, буде Тэйлор обидел ее самое; буде этот Грегори ее ославил — да пусть их! Но что стал бы делать мистер Браунинг, если бандиты украли бы ее; держали у себя; грозили отрезать ей уши и послать по почте на Нью-Кросс? Он как хочет, а она решилась. Флаш беззащитен. Ее долг ему помочь. «Но Флаш, бедный Флаш, он так мне предан; вправе ли я жертвовать им, невиннейшим существом, ради чести изобличить всех Тэйлоров, вместе взятых?» Что бы ни говорил мистер Браунинг, она решила спасти Флаша, даже если ей придется для этого броситься в разверстую пасть Уайтчепел, даже если мистер Браунинг осудит ее.

И потому в субботу, глядя в открытое письмо мистера Браунинга, лежавшее перед ней на столе, она начала одеваться. Она читала — «еще одно слово — ведь я тем самым восстаю против ненавистного владычества всех мужей, отцов, братьев и прочих угнетателей». Итак, отправляясь на Уайтчепел, она выступает против Роберта Браунинга и на стороне отцов, братьев и прочих угнетателей. Она продолжала меж тем одеваться. Во дворе выла собака. На цепи, во власти жестоких людей. В этом вое мисс Барретт чудилось: «Помни о Флаше». Она надела туфли, мантильку, шляпку. Еще раз заглянула в письмо. «...Мне предстоит жениться на Вас...» Собака все выла. Мисс Барретт вышла за дверь и стала спускаться по лестнице.

Навстречу ей попался Генри Барретт и сказал, что ее ограбят, убьют, если она поступит так, как она грозитя. Она велела Уилсон вызвать пролетку. Уилсон, трепеща, покорила. Пролетка подкатила к парадному. Мисс Барретт велела Уилсон сесть. Уверенная, что отправляется на смерть, Уилсон села. Мисс Барретт велела кучеру ехать на Мэннингстрит, в Шодитч. Мисс Барретт сама села в пролетку, и они отправились. Скоро остались позади цельные окна и двери красного дерева. Они очутились в мире, которого никогда прежде не видывала, о котором не подозревала мисс Барретт. Они очутились в мире, где под полом мычат коровы, где целые семьи ютятся в комнатах с выбитыми окнами; где воду

включают только дважды в неделю, где нищета и порок рождают нищету и порок. Они очутились в области, неведомой для почтенного кучера. Пролетка стала; кучер у трактира справился о дороге. Из дверей вышло несколько человек. «Вам, видать, к мистеру Тэйлору!» В этот загадочный мир пролетку с двумя дамами могло занести по одному-единственному поводу, и уж понятно какому, по высшей степени неприятному поводу. Один из спрашивавших побежал обратно в дом и вышел, оповещая, что мистера Тэйлора «дома нету! Но не угодно ли войти?». Уилсон вне себя от ужаса молила ни о чем таком и не думать. Вокруг пролетки толпились мужчины и мальчишки. «Не угодно ли видеть миссис Тэйлор?» — спросила одна личность. Мисс Барретт не имела желания видеть миссис Тэйлор; но тут на пороге явилась невероятной толщины особа, «судя по толщине ее, незнакомая с изнурительными угрызениями совести», и сообщила мисс Барретт, что муж ее в отсутствии; «может, через минуту-другую пожалует, а может, и через часок-другой — не угодно ль войти обождать?». Уилсон дернула ее за подол. Ждать у эдакой в доме! И в пролетке-то сидеть было тошно под взглядами этих мужчин и мальчишек. Итак, мисс Барретт вступила в переговоры с «бандиткой огромных размеров», не покидая пролетки. Она сказала, что ее собака — у мистера Тэйлора; мистер Тэйлор обещал вернуть собаку. Можно ли рассчитывать, что мистер Тэйлор доставит собаку на Уимпол-стрит сегодня же? «И не сомневайтесь», — отвечала толстуха с неотразимой улыбкой. Наверное, он как раз по этому делу и отлучился. И она «весьма грациозно мне покивала».

Пролетка повернула и оставила позади Мэннинг-стрит, Шодитч. Уилсон считала, что они «насилу живые отделались». Мисс Барретт и сама переволновалась не на шутку. «Шайка, очевидно, сильная. Общество, «любители»... прочно тут укоренились», — писала она. В голове ее теснились мысли, в глазах кружились картины. Так вот что обреталось позади Уимпол-стрит — эти лица, эти дома... Покуда она сидела в пролетке возле трактира, она увидела больше, чем виде-

ла за все пять лет своего заточения в спальне на Уимпол-стрит. «Эти лица!» — восклицала она. Они выжглись на ее зрачках. Они подстрекнули ее воображение, как «божественные мраморные дѹхи» — бюсты над книжной полкой — никогда не могли его подстрекнуть. Здесь жили женщины; покуда она лежала на кушетке, читала, писала, вот так они жили. А пролетка уже снова катила мимо четырехэтажных домов. Мимо знакомых дверей и окон; мимо шлифованных кирпичей, медных дверных ручек, неизменяемых занавесей. По Уимпол-стрит, к пятидесятому номеру. Уилсон спрыгнула на тротуар — и какое же счастье было снова оказаться в безопасности. Но мисс Барретт, наверное, мгновенье помедлила. Перед ней все стояли «эти лица». Они еще вернутся к ней годы спустя, когда она будет сидеть на балконе под солнцем Италии. Они вдохновят самые яркие страницы «Авроры Ли»\*. А покамест дворецкий распахнул дверь, и она пошла вверх по лестнице, к себе в комнату.

В субботу был пятый день заточения Флаша. Почти изнемогший, почти отчаявшийся, лежал он, задыхаясь, в углу переполненной комнаты. Распахивалась и хлопала дверь. Раздавались хриплые крики. Визжали женщины. Попугаи болтали, как привыкли болтать со вдовами на Мейда-Вейл, но здесь злые старухи отвечали им бранью. В шерсти Флаша копошилась какая-то нечисть, но у него не было сил отряхиваться. Все прошлое Флаша, разные сцены — Рединг, теплица, мисс Митфорд, мистер Кеньон, книжные полки, бюсты, крестьяне на шторках — поблекли, растаяли, как тают снежные хлопья в котле. Если он и связывал с чем-то свои надежды, то с чем-то безымянным и смутным; с неясным лицом без черт, которое для него по-прежнему называлось мисс Барретт. Она по-прежнему существовала; все прочее в мире исчезло; она же по-прежнему существовала, но меж ними пролегла такая пропасть, которую едва ли она могла одолеть. Снова на него стала надвигаться тьма, такая тьма, что, казалось, раздавит последнюю его надежду — мисс Барретт.

\* Стихотворный роман Элизабет Браунинг (1806—1861), посвященный теме равноправия женщины (1857).

И правда — силы Уимпол-стрит, даже и в эти последние мгновенья, боролись против воссоединения мисс Барретт и Флаша. В субботу днем она лежала и ждала, что Тэйлор придет, как пообещала необъятная толстуха. И вот он пришел, но пришел без собаки. Он передал снизу — пусть мисс Барретт вперед выложит шесть гиней, и он сразу пойдет на Уайтчепел за собакой — «честное благородное слово». Чего именно стоило «честное благородное слово» мерзавца Тэйлора, мисс Барретт не знала, но «выхода не было»; на карте стояла жизнь Флаша. Она отсчитала шесть гиней и послала вниз Тэйлору. Но по воле несчастной судьбы, пока Тэйлор ждал в прихожей среди зонтов, гравюр, ковров и прочих ценных предметов, туда вошел Альфред Барретт. Увидев «мерзавца» Тэйлора у себя в доме, он вознегодовал. Он метал громы и молнии. Он обозвал его «мошенником, вором, обманщиком». На каковые определения мистер Тэйлор сумел достойно ответить. И — что значительно хуже — он поклялся «спасеньем своей души, что нам не видать нашей собаки», и выбежал вон. Значит, наутро ожидался окровавленный сверток.

Мисс Барретт поспешно оделась и кинулась вниз. Где Уилсон? Пусть найдет пролетку. Она тотчас отправится на Мэннинг-стрит. Семейство бросилось ее удерживать. Темнеет. Она и так устала. Предприятие и для здорового мужчины рискованное. С ее стороны — это просто безумие. Так они ей говорили. Братья, сестры обступили ее, и грозили, и убеждали, «орали, что я «безумица», упряма и зла,— меня честили не хуже, чем мистера Тэйлора». Она стояла на своем. В конце концов они осознали ее невменяемость. Что бы это ни повлекло за собой, ей следовало уступить. Септимус обещал, если Ба вернется к себе и успокоится, пойти к Тэйлору, заплатить деньги и привести собаку.

И вот сумерки пятого сентября сгустились и настала ночь на Уайтчепел. Опять распахнулась дверь, вошел тот, косматый, и за шкуру выволок Флаша из угла. Глядя на ненавистную физиономию старого врага, Флаш не знал, ведут ли его навстречу гибели или свободе. И если б не одно

зыбкое воспоминание, ему было бы, в общем, уже все равно. Враг нагнулся. Зачем корявые пальцы ощупали горло Флаша? Нож у него в руках или поводок? Спотыкающегося, валкого, чуть не ослепшего Флаша вывели на волю.

На Уимпол-стрит мисс Барретт совсем лишилась аппетита. Жив ли Флаш? Она не знала. В восемь часов в дверь постучали; как всегда — письмо от мистера Браунинга. Но когда дверь отворили, чтоб впустить письмо, в комнату метнулось еще что-то: Флаш. Он тотчас устремился к красной мисочке. Ее три раза наполняли; а он все пил. Мисс Барретт смотрела, как пьет грязная, затравленная собачонка. «Он не так мне обрадовался, как я ожидала», — заключила она. Нет, у него было одно-единственное желание — напиться чистой воды.

Но ведь мисс Барретт только мельком видела лица тех людей и запомнила их навсегда. А Флаш был в их власти почти пять суток. И когда он снова очутился здесь, на подушках, он, кажется, уже ничего не хотел, кроме свежей воды. Он пил не переставая. Прежние пенаты — книжная полка, шкаф, бюсты, — кажется, утратили для него смысл. Комната уже не составляла весь мир; она была лишь укрытие. Лишь овражек рядом с дрожащим листком посреди глухого леса, где затаились звери и чудища; где под каждым кустом залег разбойник и враг. Флаш лежал, опустошенный, в ногах у мисс Барретт, а вой заточенных собак и отчаянные вопли птиц еще звучали у него в ушах. Отворялась дверь, и он вздрагивал, боясь, что войдет тот, косматый, с ножом. То был просто мистер Кеньон с книгой; то был просто мистер Браунинг со своими желтыми перчатками. Но теперь он сжимался при виде мистера Кеньона и мистера Браунинга. Он им больше не верил. За их улыбками скрывались жестокость, предательство и обман. Ласки их ничего не значили. Он даже боялся теперь ходить с Уилсон к почтовой тумбе. Он не мог и шагу ступить без поводка. Когда ему говорили: «Бедный Флаш, злые люди тебя украли, да?» — он поднимал голову и выл и скулил. Заслышав свист хлыста, он кидался вниз по подвальным ступенькам. Дома он все жался к мисс

Барретт. Она одна его не предала. В нее он пока еще веровал. Постепенно он снова ее обретал. Замученный, дрожащий, грязный и страшно тощий, он лежал на кушетке у ее ног.

Шли дни, Уайтчепел стиралась из памяти, и Флаш, лежа рядом с мисс Барретт на кушетке, читал в ее мыслях даже яснее, чем прежде. Их разлучали; и вот они снова вместе. Право же, никогда не были они так близки. Каждый жест ее, каждое движение отзывались в его душе. А теперь она словно все время была в движении. Когда ей принесли пакет, она просто спрыгнула с кушетки. Она вскрыла пакет; трясущимися пальцами вытащила оттуда грубые башмаки. И тотчас запрятала поглубже в шкаф. И снова легла на кушетку, будто ничего не случилось. А ведь что-то случилось. С Флашем наедине она встала и вынула из ящика стола бриллиантовое ожерелье. Вынула шкатулку с письмами мистера Браунинга. Положила башмаки, ожерелье и письма в картонку и — заслышав шаги на лестнице — затолкала ее под кровать, и поскорее легла, и снова укрылась шалью. Эта таинственность, эти маневры предвещали, чувствовал Флаш, важные перемены. Неужто они убегут отсюда оба? Оба покинут страшный мир, где похищают собак, где господствует тирания? О, если бы! Он дрожал и возбужденно скулил; но мисс Барретт тихим голосом призывала его к молчанию, и он затихал. Сама она, тоже очень тихо, лежала на кушетке, когда входили братья и сестры; она лежала и беседовала с мистером Барреттом, как она всегда беседовала с мистером Барреттом.

Но в субботу двенадцатого сентября мисс Барретт сделала то, чего Флаш от нее не ожидал. Сразу после завтрака она оделась для выхода. Более того, по выражению ее лица, пока она одевалась, он совершенно ясно понял, что его с собой не берут. Какие-то у нее были от него тайны. В десять часов Уилсон вошла в комнату. Они вышли вместе; Флаш лежал и ждал, когда они вернуться. Через час приблизительно мисс Барретт вернулась — одна. На него она и не взглянула, она словно не замечала ничего вокруг. Она сдернула перчатки, и на мгновение в глаза ему сверкнуло золотое кольцо на ее



левой руке. Потом он увидел, как она сняла кольцо и сунула во тьму ящика. А потом она, как всегда, легла на кушетку. Он лежал рядом, не смеядохнуть, ибо что бы ни случилось — а что-то определенно случилось, — следовало любой ценой держать в тайне.

Жизнь в спальне любой ценой должна была идти как всегда. И все меж тем изменилось. В каждом взмахе шторы мерещился Флашу сигнал. Свет и тени скользили по бюстам поэтов, и те смотрели хитро и всезнающе. Все в комнате будто готовилось к переменам; готовилось к важным событиям. И все таилось; все скрывалось. Как всегда, приходили и уходили братья и сестры; мистер Барретт, как всегда, являлся по вечерам. Как всегда, проверял, выпито ли вино, съеден ли цыпленок. Мисс Барретт смеялась и болтала, когда в комнате кто-нибудь был, и виду не показывала, что она что-то скрывает. А когда они оставались одни, она вытаскивала из-под кровати картонку и воровато, прислушиваясь, что-то совала в нее. Она безусловно нервничала. В воскресенье звонили церковные колокола. «Это где же звонят?» — спросил кто-то. «В Марилебондской церкви», — сказала мисс Генриетта. И мисс Барретт — Флаш видел — побледнела как полотно. А другие ничего не заметили.

Так прошел понедельник, и вторник, и среда, и четверг. И все они притворялись обычными днями — те же были молчание, еда, разговоры, то же лежание на кушетке — как всегда. Флаш беспокойно ворочался во сне, ему снились папоротники в глухом лесу, и они с мисс Барретт там прятались вместе; потом папоротники раздвинулись, и он проснулся. Еще не рассвело; в темноте он различил Уилсон, она осторожно вошла, достала из-под кровати картонку и унесла. Это было ночью в пятницу восемнадцатого сентября. Все субботнее утро он пролежал так, как лежишь, зная, что вот-вот упадет платок, прошуршит тихий свист — будет дан неотвратимый сигнал. Он смотрел, как одевается мисс Барретт. Без четверти четыре дверь отворилась и вошла Уилсон. Сигнал был дан — мисс Барретт взяла его на руки. Она поднялась и пошла к двери. На мгновение они застыли на по-

роге, оглядывая комнату. Здесь была кушетка и кресло мистера Браунинга. Были столики, бюсты. Солнце сквозило сквозь листву плюща, и вздувались шторы с крестьянами. Все как всегда. Все, замерев, ожидало еще миллионов точно таких же мгновений; но для мисс Барретт и Флаша это было — последнее. Очень тихо мисс Барретт затворила дверь.

Очень тихо они скользнули вниз по лестнице, мимо гостиной, библиотеки, мимо столовой. Все выглядело как всегда; пахло как всегда; все было тихо и будто дремало под теплым сентябрьским солнцем. На подстилке в прихожей лежал Катилина и тоже дремал. Вот дошли до парадной двери и очень тихо повернули ручку. За дверью ждала пролетка.

— К Ходчсону,— сказала мисс Барретт. Почти шепнула. Флаш затих у нее на коленях. Ни за что на свете не нарушил бы он этого страшного молчания.

## *Глава пятая*

### **Италия**

Потом часами, днями, неделями, наверное, был грохот тьмы, вдруг прорезаемой светом; и опять длинные полосы мрака; и нещадная качка; и вылазки впопыхах на свет, к всходящему над ним лицу мисс Барретт, и к хилым деревцам, и рельсам, и высоким, в точках огней, домам — ибо в ту пору на железной дороге царил дикарский обычай — собак перевозили в ящиках. Однако Флаш не робел. Они ведь спасались бегством. Они убегали от тиранов и похитителей. Грохочи, грохочи, скрежещи, грохочи на здоровье, урчал он, пока поезд швырял его из стороны в сторону; нам бы только убраться подальше от Уимпол-стрит и Уайтчепел. Потом все вдруг наполнилось светом; грохот смолк. Флаш услышал, как поют птицы и вздыхает ветер в листве. Или это шумела вода? Наконец он открыл глаза, встряхнулся, и взору его предстало непостижимое зрелище. Мисс Барретт была на

камне посреди шумящих вод. Над ней склонялись деревья. Кругом бушевала река. Мисс Барретт, конечно, грозила опасность. Одним рывком Флаш одолел поток и оказался с нею рядом. «...Он принял крещение в честь Петрарки», — сказала мисс Барретт, когда он вскарабкался на камень и устроился с нею рядом. Ибо дело происходило в Воклюзе; она обосновалась на камне посреди Петраркова потока.

И опять был грохот и скрежет; и опять его вывели на твердую землю; тьма расступилась; на него хлынул свет. Живой, наяву, сам себе не веря, он стоял на рыжеватых плитах огромной, плывущей в солнечном сиянии комнаты. Он обежал ее, исследовал носом и лапами. Оказалось: ни ковра, ни камина. Ни кушеток, ни кресел, ни книжных полок, ни бюстов. Пряный, неведомый запах ударял ему в ноздри, и он расчихался. Свет, безмерно резкий, отчетливый, слепил ему глаза. Никогда еще не случалось Флашу бывать в комнате — если это, конечно, была комната — такой твердой и яркой, большой и пустой. Мисс Барретт на стуле у стола посерединке казалась совсем крошечной. Потом Уилсон вывела его гулять. Его чуть не ослепило солнце, а потом тень. Половина улицы была невысказанно жаркая; на другой был отвратительный холод. Женщины кутались в меха, но прикрывались от солнца зонтиками. И вся улица была совершенно сухая. В середине ноября нигде не замечалось ни лужи, где можно промочить лапы, ни грязи, которая липнет всегда на очесы. И ни колышков; ни полуподвальных дворики. И не было этих мучительно путаных запахов, которые так будоражат тебя во время прогулок по Уимпол-стрит и Оксфорд-стрит. Зато от каменных острых выступов, от желтых сухих стен веяло чем-то чужим, непонятным и увлекательным. Потом колыханье черного занавеса обдало его чем-то неотразимым; запах выкатывался волнами; Флаш замер; он сделал стойку; он внюхивался, он наслаждался; его неодолимо влек этот запах, и он юркнул под занавес. На миг мелькнула огнями гулкая впадина огромной залы; но Уилсон с истошным криком уже выдернула его обратно. И снова они шли по

улице. Улица оглушала. Будто все вместе, надсаживаясь, орала наперебой. Взамен ровного снотворного жужжания Лондона все здесь грохало, ухало, звякало, тренькало, стучало, щелкало и звенело. Флаш кидался туда-сюда, волоча за собою Уилсон. Их раз двадцать теснили с панели на мостовую и обратно — то тележка, то вол, то отряд солдат, то стадо коров. Он сразу помолодел, он стряхнул с себя несколько лет. Ошалелый, радостный, он рухнул на рыжеватые плиты и заснул таким крепким сном, каким никогда он не спал на подушках в спальне на Уимпол-стрит.

Но скоро Флашу открылось еще более важное отличие Пизы — ибо именно в Пизе они поселились — от Лондона. Собаки тут были другие. В Лондоне, бывало, он до почтовой тумбы не мог пройти, не повстречав по дороге мопса, бульдога, колли, ньюфаундленда, сенбернара, фокса или представителя одного из семи славных ответвлений семейства спаниелей. И про каждую собаку он знал, кто есть кто и какое занимает положение на общественной лестнице. А тут, в Пизе, собак была тьма, но все — не поймешь, что такое; все — возможно ли? — были дворняги. Насколько он понимал, это были просто собаки — серые, рыжие, пятнистые, полосатые; и среди них нельзя было распознать ни единого спаниеля, колли, дога или фокстерьера. Значит, деятельность Собачьего Клуба не распространяется на Италию? А про Клуб Спаниелей тут и не слыхивали? И нет тут закона, который карает беспощадно вихор, осуждает кудрявые уши, одобряет очесы на лапах и строго предписывает плавный переход ото лба к носу? Да, как видно, такого закона тут не знали. Флаш ощутил себя принцем в изгнании. Он был одинокий аристократ среди сплошных *canaille*\*. Он был единственный чистокровный кокер-спаниель во всей Пизе.

За долгие годы Флаш привык себя считать аристократом. Закон красной мисочки и поводка глубоко укоренился в его душе. И неудивительно, что сейчас он был несколько обескуражен. Не станем же мы осуждать какого-нибудь

\* сброд, чернь (франц.).

Говарда или Кавендиша, если, оказавшись среди убогих туземцев, жителей грязных лачуг, он нет-нет и вспомянет свой Четсворт и нежно взгрустнет по красным коврам и по галереям, куда закат, подпалив витражи, бросает герцогские короны. Флаш был чуточку суетен, надо признаться; мисс Митфорд давно за ним замечала; и качество это, подавляемое в Лондоне среди высших и равных, теперь дало себя знать, когда он ощутил себя избранным. Он стал надменен и дерзок. «Флаш превратился в абсолютного монарха и нещадно облаивает вас, когда велит вам открыть ему дверь,— писала миссис Браунинг.— Роберт,— продолжала она,— уверяет, будто вышеозначенный Флаш считает, что он, мой муж, для того и создан, чтоб угождать Флашу, и, кажется, так оно и есть».

«Роберт». «Мой муж». Пусть Флаш изменился, но и мисс Барретт изменилась тоже. Она не только называла себя теперь миссис Браунинг; не только играла на солнце золотым кольцом; она вообще изменилась не меньше Флаша. Флаш слышал это ее «Роберт, мой муж» по пятьдесят раз на дню, и каждый раз голос ее звенел такой гордостью, что у него даже вздыбливалась холка и падало сердце. Но не в словах и не в голосе дело. Она просто стала совершенно другим человеком. Раньше, например, она едва пригубит наперсток портвейна и потом жалуется на головную боль, а теперь опрокинет целый стаканчик кьянти и спит как убитая. Теперь на столе в столовой пылали апельсиновые ветки — и это взамен желтого, голенького, кислого апельсинчика. Раньше она вызывала ландо, чтоб добраться до Риджентс-парка, а теперь надевала грубые башмаки и карабкалась по скалам. Раньше карета мерно везла их по Оксфорд-стрит, а теперь ненадежная колымага с грохотом несла вниз, на берег озера, любоваться горами; и когда она уставала, она не кликала снова пролетку; она садилась на камень и разглядывала ящериц. Она блаженствовала на солнышке; она блаженствовала в тени. Она подбрасывала в камин сосновых поленьев из герцогского леса, когда было холодно. И они садились у потрескивающего огня и впивали креп-

кий, терпкий запах. Она не уставала сравнивать Италию с Англией не в пользу последней. «...Бедные наши англичане! — восклицала она. — Надо их научить радоваться. Надо их закалять — не на огне, а на солнце». Здесь, в Италии, была воля и жизнь, была радость, порожденная солнцем. Здесь никто не ругался, никто не дрался и не было видно пьяниц; «эти лица» из Шодитча опять вставали у нее перед глазами. Она вечно сравнивала Пизу с Лондоном и говорила о том, насколько больше ей нравится Пиза. Здесь хорошенькая женщина может ходить по улицам без провожатых; знатные матроны сперва собственноручно выливают помой, а потом отправляются ко двору «в блеске неоспоримой изысканности». Пиза, ее колокола, дворняги, верблюды и боры были куда привлекательней, чем Уимпол-стрит, и двери красного дерева, и говяжий филей. И каждый день, опрокинув стаканчик кьянти и сорвав с ветки очередной апельсин, миссис Браунинг хвалила Италию и жалела бедную, скучную Англию, бессолнечную, безрадостную, где такая дороговизна и обременительные условности.

Правда, Уилсон, надо сказать, какое-то время оставалась верна Британии. Дворецкие, и кухни в полуподвалах, и двери красного дерева не без труда были вычеркнуты ею из памяти. Она сочла необходимым выскочить из картинной галереи, ибо «до того неприличная у них эта Венера». И потом еще, когда благодаря любезности своей подруги она получила возможность в шелку поглядеть на герцогское великолепие, она и то не сдалась. «А бедно у них, — отнеслась она о Дворе Великого Герцога, — у нас Сент-Джеймский дворец богаче будет». Да, но она смотрела-смотрела, и взор ее упал на неотразимую фигуру одного из герцогских телохранителей; сердце ее воспылало; суждения тотчас переменялись; критерии рушились. Лили Уилсон влюбилась без памяти в сеньора Ригхи из герцогской стражи.

Но в точности как миссис Браунинг изучала свои новые свободы и наслаждалась открытиями, Флаш тоже делал открытия и изучал свободную жизнь. Еще в Пизе — а весной 1847 года они перебрались во Флоренцию — Флаш

постиг странную истину, которая на первых порах удручала его: закон Собачьего Клуба не есть всеобщий закон. Он пришел к заключению, что легкий вихор не всегда непростителен. Соответственно он пересмотрел весь свой моральный кодекс. Он стал руководиться, сперва с некоторой оглядкой, своими новыми представлениями о структуре собачьего общества. День ото дня он делался демократичней. Еще в Пизе миссис Браунинг замечала, что он «...ежедневно выбегает на улицу и беседует с собачками по-итальянски». А теперь, во Флоренции, старые пути все до ниточки спали с него. Миг раскрепощения настал в один прекрасный день в Касцинском парке. Он носился по «яркой изумрудной мураве» наперегонки с «фазанами, трепетными и быстрыми», и вдруг он вспомнил Риджентс-парк и воззвание: «Собаки должны ходить только на цепи». Ну и где теперь это «должны»? Где теперь цепи? Где смотрители со своими дубинками? Их нет — и нет собачьих воров, и Собачьего Клуба, и Клуба Спаниелей — прислужника развращенной аристократии! Нет пролеток, ландо и нет Мэннинг-стрит, нет Уайтчепел! Он скакал, он носился; шерсть его пламенела; сверкали глаза. Он стал другом всему миру. Все собаки были теперь его братья. Здесь, в этом новом мире, ему не нужен был поводок; он не нуждался в защитниках. Если мистер Браунинг мешкал, когда наставал час прогулки — теперь их с Флашем связывала теснейшая дружба,— Флаш его призывал к порядку. Он «становится перед ним и лает весьма повелительно», — замечала миссис Браунинг не без досады, ибо собственные ее отношения с Флашем во многом утратили нежность былых времен, когда рыжая шерсть его и сияющий взор восполняли то, чего ей не хватало; теперь настоящий Пан поджидал ее в тени олив и вертоградов; а вечером был опять тут как тут и вслушивался в ароматное потрескивание сосны. Итак, если мистер Браунинг медлил, Флаш становился против него и лаял; но если мистер Браунинг предпочитал посидеть дома и по-сочинять — не беда. Флаш был теперь независим. Глициния и раkitник цвели вдоль заборов, в садах пламенело иудино

дерево; луга искрились тюльпанами. Чего же ждать? И он убежал один. Он теперь был сам себе хозяин. «...Он уходит один и пропадает часами,— писала миссис Браунинг.— ...Он знает все улицы во Флоренции и настаивает на независимости. Я нисколько не тревожусь, когда его нет»,— заключила она, с улыбкой вспомнив мучительные часы ожидания на Уимпол-стрит и бандитов, которые норовят выхватить собаку прямо из-под колес, стоит тебе зазеваться. Во Флоренции не было места страху; не было собачьих воров и — вздыхала она, вероятно,— не было отцов.

Но если уж говорить откровенно — не для того, чтоб любоваться живописью, вступать под сумрачные церковные своды и разглядывать темные фрески, убежал Флаш за дверь Casa Guidi, когда ее оставляли открытой. Он спешил насладиться кое-чем, отыскать кое-что, в чем ему долгие годы было отказано. Он уже слышал охотничий рог Венеры однажды в полях Беркшира; он полюбил тогда сучку мистера Партриджа; она ему принесла потомство. И теперь тот же голос звенел над узкими флорентийскими улочками, но куда повелительней, куда более властно — промолчав столько лет. И Флаш познал то, чего не дано познать человеку,— любовь чистую, любовь простую, любовь в полном смысле слова; любовь, которая не отягчена заботой; не знает стыда; ни отрезвельня; налетела — и нет ее; как пчела на цветке — налетела и нет. Нынче цветок этот роза, завтра лилия; то дикий болотный чертополох, то оранжерейная орхидея, пышная и торжественная. Так бездумно, свободно ласкал Флаш то пеструю спаниелиху со своей улицы, то полосатую собаку, то рыжую — не важно. Для Флаша все они были равны. Он устремлялся на звук рога, откуда б ни доносил его ветер. Любовь — это всё; любовь — сама себе цель. И никто не осуждал Флаша за его эскапады. Мистер Браунинг только посмеивался («и не совестно? ведь порядочный, кажется, пес»), если Флаш заявлялся за полночь или вовсе под утро. И миссис Браунинг тоже смеялась, глядя, как Флаш валится на пол в спальне и засыпает мертвецким сном на мозаичном гербе семейства Гуиди.



Ибо в Casa Guidi в комнатах все было голо. Куда-то девались переодетые вещи дней отшельничества и заточенья. Кровать тут была кроватью, умывальник — умывальником. Каждый предмет был самим собою и ни во что не рядился. В просторах гостиной терялись несколько старинных резных стульев черного дерева. Над камином висело зеркало, а по бокам два амура держали свечи. Сама миссис Браунинг забросила свои индийские шали. Она носила теперь тюрбан из яркого, тонкого шелка, который нравился ее мужу. Она теперь по-иному причесывалась. И когда пряталось солнце и открывались ставни, она выходила на балкон в белом легком платье. Она любила сидеть на балконе, смотреть, слушать, наблюдать.

Вскоре по приезде их во Флоренцию, как-то под вечер, снизу, с улицы налетел такой шум, что они выбежали на балкон. Внизу бурлила толпа. Несли знамена, кричали и пели. Из окон высывались; свешивались с балконов; те, кто в окнах, кидали цветы и лавровые ветки тем, кто на улице; а те, кто на улице — торжественные мужчины, веселые юные женщины, — целовались и простирали своих детишек тем, кто стоял на балконах. Мистер и миссис Браунинг приникли к перилам и хлопали, хлопали. Плыли знамена; факелы их озаряли. «Свобода» — было начертано на одном знамени; «Единая Италия» — на другом; и еще «Помни о жертвах» и «Viva Pio Nonno!»\* и «Viva Leopoldo Secondo!»\*\* — три часа с половиной проплывали знамена, и люди кричали, и мистер и миссис Браунинг стояли на балконе, где горело шесть свечей, и махали, махали. Какое-то время Флаш, лежа между ними и свеся лапы между перил, пытался добросовестно ликовать. Но вот — он не мог этого скрыть — он зевнул. «Он признал наконец, что торжество, на его взгляд, чересчур затянулось», — заметила миссис Браунинг. Усталость, сомнение, цинизм им овладели. И к чему это все? — спрашивал он себя. Кто этот Великий Герцог? И что он им обещал? И чему тут радоваться? Ибо его,

\* Да здравствует Пий Девятый! (итал.)

\*\* Да здравствует Леопольд Второй! (итал.)

надо сказать, раздражало, что миссис Браунинг с таким неумемным пылом машет этим знаменам. Великий Герцог, казалось ему, не стоил подобных восторгов. А потом, когда проходил сам Великий Герцог, Флаш заметил, что у парадной двери задержалась собачка. Воспользовавшись тем, что миссис Браунинг совсем увлеклась, он улизнул с балкона и сбежал вниз. Лавируя среди толпы и знамен, он устремился за нею. Она убегала все дальше, к самому сердцу Флоренции. Удалялись, таяли голоса, глохло ликование толпы. Растворились огни факелов. Только редкие звезды подпрыгивали на ряби Арно и мигали Флашу, который лежал на грязном берегу под сенью старой корзины рядышком с пестрой спаниелихой. Так лежали они в любовной истоме, покуда не встало солнце. Флаш явился домой только в девять утра, и миссис Браунинг встретила его не без иронии — мог бы хоть вспомнить, считала она, что сегодня ровно год со дня ее свадьбы. Но, она заметила, «вид у него был чрезвычайно довольный». Что ж. И правда. Сама она находила непонятное удовольствие в топоте тысячных толп, посулах Великого Герцога и зыбком стремленье знамен, Флашу же куда больше понравилась остановившаяся у двери собачка.

Спору нет, миссис Браунинг и Флаш в своих плаваниях открыли совершенно разные земли: она — Великого Герцога, он — пеструю спаниелиху; однако узы, их связывавшие, продолжали крепко держать. Едва Флаш успел распрощаться со всеми «должны», носясь по изумрудной мураве Касцинских садов, где багрецом и золотом вспыхивали фазаны, как его одернули. Снова его оттянули назад, его осадили. Началось с пустяка — с намека, — просто миссис Браунинг весной 49-го года вдруг взялась за иголку. Но что-то тут не понравилось Флашу. Она вообще не имела обыкновения шить. Он увидел, как Уилсон двигала кровать, и она выдвигала ящик комода и складывала туда какие-то белые вещи. Подняв голову с рыжеватых плит, он смотрел, он внимательно вслушивался. Неужто опять что-то стряслется? Он в тревоге ждал, как бы не начали паковать саквояжи.

Неужто снова бежать, снова спастись? Спастись — но куда, от чего? Здесь им бояться нечего, убеждал он миссис Браунинг. Здесь, во Флоренции, они оба могут спокойно забыть и про мистера Тэйлора, и про кровавые свертки с собачьими головами. Он, однако, совершенно запутался. Перемены, насколько он в них разобрался, не предвещали бегства. Перемены, таинственным образом, говорили об ожидании. Глядя, как миссис Браунинг спокойно, но чересчур уж прилежно водит иголкой, сидя в своем низком кресле, он чувствовал, что надвигается неизбежное, и ему становилось не по себе. Катились недели. Миссис Браунинг почти не выходила из дому. Будто ждала рокового события. А вдруг нагрянет кто-то такой вроде Тэйлора, и он обидит ее, застигнув одну, без защитника? От этой мысли Флаш бросало в дрожь. Да, бежать она, по всей видимости, не собиралась. Саквояжей не укладывали. Непохоже было, что кто-то хочет покинуть дом, скорей наоборот — кто-то должен явиться. Флаш с ревнивой тревогой оглядывал каждого гостя. Их было много теперь — мисс Блэгден, мистер Ландор, Хэтти Хосмер, мистер Литтон, — очень много дам и господ посещали теперь Casa Guidi. А миссис Браунинг целыми днями сидела в кресле и шила.

И вот однажды в начале марта миссис Браунинг вовсе не появилась в гостиной. Приходили и уходили другие. Приходили и уходили Уилсон и мистер Браунинг. И они приходили и уходили с такими ужасными лицами, что Флаш забился под кушетку. Кто-то бегал вверх-вниз, по лестнице летал шепот, чужие задушенные голоса. Наверху, в спальне, шаркали. Флаш все глубже забивался во тьму под кушеткой. Каждой жилкой он ощущал, как что-то меняется, происходит страшное что-то. Так же точно давным-давно он ждал, когда под дверью замрут шаги незнакомца в капюшоне. И дверь распахнулась тогда наконец, и мисс Барретт вскрикнула: «Мистер Браунинг!» Но кто теперь еще явится? Какой еще незнакомец? День клонился к вечеру, а про Флаша забыли. Он валялся в гостиной — непоенный, некормленный; и пусть бы хоть тысячи пестрых

спаниелих обнюхивали сейчас порог — он бы просто от них отшатнулся. Ибо к концу дня им все более овладевало чувство, что в дом снаружи ломится что-то. Он глянул из-под бахромы. Амуров-факельщиков, резные стулья черного дерева — всех будто расшвыряли друг от друга подальше, и самого его тоже будто отбросили к стенке, расчищая место для чего-то невидимого. Вот промелькнул мистер Браунинг; но мистер Браунинг был на себя не похож; вот промелькнула Уилсон — но Уилсон тоже переменялась, словно оба воочию видели то, что не видел, но угадывал он.

Наконец Уилсон, вся красная, растрепанная, но ликующая, взяла его на руки и понесла наверх. Они вошли в спальню. Что-то слабенько бляело в затененной комнате — что-то трепыхалось на подушке. Живое. Без всякой их помощи, не открывая парадной двери, сама по себе, одна, миссис Браунинг преобразилась в двоих. Что-то неприличное мяукало и трепыхалось с нею рядом. Раздираемый гневом, и ревностью, и глубоким отвращением, которого он не умел скрыть, Флаш вырвался из рук Уилсон и бросился вниз. Уилсон и миссис Браунинг звали его; соблазняли ласками, обещали вкусно угостить — все напрасно. Он при каждом удобном случае прятался от ненужного зрелища, отталкивающего создания, в потемках кушетки или в укромном углу. «...На две недели целых он впал в глубокую тоску и не отвечал на знаки внимания, которые ему расточали», — была принуждена заметить миссис Браунинг среди новых своих забот. А если мы, как нам и должно, возьмем наши минуты и часы, переведем на собачий счет и посмотрим, как минуты взбухают часами, а часы сутками, — мы заключим без малейшей натяжки, что «глубокая тоска» Флаша длилась полгода целых по человечесьему времени. Многие мужчины и женщины скорей забывают и свою ненависть и свою любовь.

Однако Флаш был уже не прежний олух и неуч с Уимполстрит. Он получил кой-какие уроки. Уилсон однажды его поколотила. Он съел однажды зачерствевшие бисквиты, тогда как мог съесть их и свежими; он поклялся любить

и не кусать. Все это взбивалось у него в голове, пока он лежал под кушеткой; и наконец он вышел на свет. И снова был он вознагражден. Награда на сей раз, надо признаться, на первых порах показалась ему весьма скромной, если не сказать унижительной. Малыша усадили к нему на спину, и он должен был его катать, а тот его дергал за уши. Но Флаш претерпевал это так благородно, поворачиваясь, когда его дергали за уши, только затем, «чтобы поцеловать голые пухлые ножки», что не прошло и трех месяцев, как беспомощный, слабенький, писклявый, слюнявый детеныш стал отличать его — «в общем» (это по свидетельству миссис Браунинг) среди всех других, а потом уж, к собственному своему удивлению, Флаш и сам привязался к малышу. Разве нет меж ними сродства? Разве малыш не близок во многом Флашу? Не сходные ли у них понятия, не общие вкусы? Пейзаж, например. Флашу решительно всякий пейзаж казался неинтересен. Он так и не научился за эти годы любоваться горами. Когда его взяли на Валломброзу, лесные прелести только нагнали на него скуку. И вот, когда малышу было несколько месяцев, они снова сели в карету и отправились в бесконечное странствие. Малыш лежал на руках у кормилицы; Флаш сидел на коленях у миссис Браунинг; карета взбиралась все выше к Апеннинским вершинам. Миссис Браунинг была просто вне себя от восторга. Она буквально не могла оторваться от окна. Среди всех богатств родного языка она не могла найти слов, которые бы отразили ее впечатления. «...Немыслимые, почти нездешние Апеннины, дивная смена красок и очертаний, внезапные превращения гор и живая физиономия каждой, каштановые леса, словно от собственной тяжести низвергающиеся с кручи, скалы, рассеченные бегом ручьев, и горы, горы, горы над горами разворачивают свое великолепие, как бы сами собой, от усилия меняясь в цвете...» — да, поистине, красоты Апеннин рождали сразу столько слов, что с разгона они сшибались и давили друг друга. Но младенец и Флаш не испытывали ни вдохновений этих, ни этих мук слова. Они оба молчали. Флаш «отвернулся от окна,

решив, что смотреть положительно не на что. Он гордо презирает деревья и горы и прочее в этом роде», — заключила миссис Браунинг. Карета грохотала все выше. Флаш уснул, и младенец уснул. Потом вдруг мимо поплыли огни, и дома, и мужчины, и женщины. Въехали в деревню. Тотчас Флаш встрепенулся, «он с любопытством таращил глаза, он посмотрел на восток, посмотрел на запад, будто делал заметки или собирался для них с мыслями». Его занимали сцены из жизни, не красота. Красоте — нам, по крайней мере, так кажется — надо было еще выпасть лиловой ли, зеленой пылью, ее надо было еще вспрыснуть неким небесным шприцем в бахромчатые ходы у него за ноздрями, чтобы она покорила воображение Флаша. Но и так рождала она не слова, а немой восторг. Когда миссис Браунинг видела, он чувал; когда она писала — он внюхивался.

Здесь, однако, биограф вынужден приостановиться. Если для передачи зрительных впечатлений нам порой недостает и наших нескольких тысяч слов — вот ведь миссис Браунинг призналась относительно Апеннин: «Нет, я не могу передать, что это такое», — то для описания запахов мы обходимся всего-то несколькими словами. Вообще, неизвестно, для чего человеку нос. Величайшие поэты мира не нюхивали ничего, кроме роз, с одной стороны, и навоза — с другой. Тончайшие же оттенки промежуточных запахов в поэзии так и не отобразились. А Флаш жил главным образом в царстве запахов. Любовь была прежде всего запах; музыка, зодчество, политика, право, наука — все было запах. Для него и религия сама была запах. Описать простейшие его впечатления от ежедневного мяса или бисквита решительно нам не дано. Мистер Суинберн и тот не сумел бы выразить, о чем говорили Флашу запахи Уимпол-стрит в жаркий июньский день. Ну а насчет того, чтобы изобразить запах молодой спаниелихи, спутанный с запахом факелов, лавров, ладана, знамен, восковых свечей и гирлянды из розовых листьев, раздавленной каблучком полежавшей в камфаре шелковой туфельки, — то разве что Шекспир, приостановись он над строками «Антония и Клеопатры»...

но Шекспир не приостанавливался. И потому, признавшись в своей беспомощности, мы можем только заметить, что Италия для Флаша в эту его самую зрелую, вольную, счастливую пору означала прежде всего бездну запахов. Любовный пыл, надо думать, утих с годами. Запахи оставались. И вот, когда семейство опять мирно зажило в Casa Guidi, каждый предался любимым занятиям; мистер Браунинг вечно писал в одной комнате, миссис Браунинг вечно писала в другой. Малыш играл в детской. А Флаш слонялся по флорентийским улицам, упиваясь запахами. Он бродил по главным улицам и по окраинам, по площадям, закоулкам, гоняясь за запахами; они все время менялись; были запахи шершавые, гладкие, темные, золотые. Он плутал там и сям, повсюду; где чеканят медь, где пекут хлеб, где женщины сидят и расчесывают волосы, где птичьи клетки громоздятся одна на другой на панели, где вино растекается по мостовой густо-красными лужами, где пахнет упряжью, чесноком и кожей, где валяют сукно, и дрожит виноградный лист, и мужчины пьют, икают, бросают кости — всюду он бегал, уткнувши нос в землю и впитывая суть вещей или воздев кверху нос, трепещущий от благовоний. Он сворачивался калачиком на горячем припеке — о, какой солнце умеет выманить запах из камня! Он прятался под тенистой аркой — каким острым запахом камень отдает в тени! Он гроздьями пожирал спелый виноград, ради его пурпурного запаха; он жевал и сплевывал самые жалкие объедки козлятины и макарон, которые итальянские хозяйки швыряли с балконов, — у макарон с козлятиной был запах надрывной, малиновый. Он шел на обморочную сладость ладана в лиловатую путаницу темных соборов и, внюхиваясь, слизывал лужи золота, пролившегося на усыпальницы с витражей. И осязание у него было не менее тонко. Он знал мраморную гладкость Флоренции и шершавость ее гравия и булыжника. Тяжелые складки древних одежд, гладкие каменные стопы и пальцы он дарил вниманием ласкового языка, теплом трепетной морды; на чутких подушечках лап он уносил четкие отпечатки гордой латыни. Короче говоря, он знал

Флоренцию так, как не дано ее знать ни одному человеку; как не знала ее Джордж Элиот, ни Рескин. Он знал ее так, как может знать лишь немой. Ни единое из мириад его восприятий ни разу не подвергалось искаженью в слове.

Но хотя биографу и очень было бы лестно заключить, будто жизнь Флаша в зрелом возрасте являла сплошную оргию наслаждений, не подвластных никакому перу; утверждать, будто (тогда как малышу ежедневно давалось новое слово, а значит, делались чуть-чуть недоступнее чувства) Флашу судьба судила пребывать в бесконечном раю, где в первозданности сияет суть вещей и нагая их душа постигается обнаженными нервами,— это, увы, неправда. Флаш не пребывал в таком раю. Разве что дух, парящий от звезды к звезде, да какая-нибудь птица, вышним лѣтом над арктическими снегами и лесами тропиков избавленная от вида наших жилищ и кучерявящегося над ними дымка, могут, насколько нам известно, наслаждаться этим нерушимым, неомраченным блаженством. А Флаш леживал у людей на коленях, слышал человеческие голоса. Плоть его пронизалась человеческими страстями; он знал все степени ревности, гнева, отчаяния. Летом, например, его изводили блохи. По странной прихоти, то же самое солнце, которое питало виноградную гроздь, плодило блох. «Муки Савонаролы здесь, во Флоренции,— писала миссис Браунинг,— были едва ли ужасней, чем страдания бедного Флаша». Блохи суетились во всех углах флорентийских домов. Они выпрыгивали, выскакивали из каждой щелки старых камней, из каждой складки старых обоев, из каждой мантильки, шляпки и одеяла. Они роились в шерсти у Флаша. Они пробивались сквозь густейшие заросли. Он скреб, он раздирал себе кожу. Здоровье его пошатнулось. Он помрачнел, отоцал, издергался. Воззвали к мисс Митфорд. Какие есть средства от блох? — тревожно спрашивала в письме миссис Браунинг. Мисс Митфорд, по-прежнему корпевшая в теплице на Третьей Миле над историческими трагедиями, отложила перо, порылась в старых рецептах — чем пользовали Ласку, чем Цезаря? Но редингскую блоху убить проще простого.



А флорентийские блохи красные и могучие. От порошков мисс Митфорд они бы только чихали. В отчаянии мистер и миссис Браунинг ползали на коленях подле лохани с водой, изо всех сил стараясь отогнать напасть с помощью щетки и мыла. Напрасно. Наконец мистер Браунинг, выйдя однажды с Флашем на прогулку, заметил, как на того обращаются. Он услышал, как один прохожий, прижав к носу палец, шепнул: «La gogna» (парша). А коль скоро к этому времени «Роберт привязался к Флашу не меньше моего», выйти погулять с другом и услышать на его счет такое было уж слишком. «Терпение Роберта,— писала его жена,— истощилось». Оставалось одно лишь средство, но средство едва ли не более жестокое, чем сама болезнь. Хоть Флаш и сделался намного демократичней и равнодушной к условностям, он по-прежнему был таким, каким его аттестовал Филип Сидни,— благородный дворянин от рождения. Родословную свою он носил на себе. Шерсть для него значила то же, что значат золотые часы с фамильным гербом для промотавшегося землевладельца, для которого наследственное приволье полей сжалось в крохотный этот кружок. И вот шерстью-то и предложил пожертвовать мистер Браунинг. Он призвал Флаша и, «взяв ножницы, всего его обкорнал до полного сходства со львом».

Пока Роберт Браунинг щелкал ножницами, пока знаки отличия кокер-спаниеля падали на пол и взамен высовывалась пародия на совсем иного зверя, Флаш чувствовал себя выхолощенным, раздавленным, обесчещенным. Кто я теперь? — думал он, глядясь в зеркало. И зеркало, с грубой откровенностью всех зеркал, отвечало: «Ты — ничто». Он стал никем. Конечно, он уже не был кокер-спаниель. Но пока он смотрел на себя, уши его, теперь голые (да уж, не кудрявые), кажется, дрогнули. словно непобедимые духи истины и смеха что-то нашептывали в них. Быть ничем — в конце-то концов, не завиднейшее ли из всех состояний? Опять он глянул в зеркало. Вот она — грива. Изображать в смешном виде напыщенность тех, кто много о себе мнит, — не есть ли, в сущности, достойное предназначение? Во вся-

ком случае, к какому бы выводу ни пришел Флаш, от блох он избавился несомненно. Он встряхнул гривой. Он пустился в пляс на голых истончившихся ножках. Он воспрял духом. Так знаменитая красавица, встав после страшной болезни и обнаружив, что лицо ее обезображено навек, зажигает, наверное, костер из притирок и платьев и радостно хохочет при мысли, что можно теперь не смотреться в зеркало, не бояться охлаждения любовника и обаяния соперницы. Так священнослужитель, весь век потевший под сукном и крахмалом, бросает, наверное, брыжи в мусорный ящик и хватается с полки Вольтера. Так прыгал Флаш, выстриженный до комического сходства со львом, но избавясь от блох. «Флаш умен», — написала сестре миссис Браунинг. Ей, вероятно, вспомнилась греческая мудрость: только через страдания обретается счастье. Тот истинный философ, кто пожертвовал своим видом, но избавился от блох.

Но Флаш недолго ждал, чтобы новообретенная его философия подверглась искусству. Летом 1852 года в Casa Guidi вновь явились предвестия, которые, скапливаясь беззвучно, покуда открывался вот этот ящик комода или небрежно болталась из картонки бечевка, для собаки так же грозны, как тучи, предвещающие молнию пастуху, или слухи, предвещающие войну министру. Снова, значит, что-то менять, снова катить куда-то. Ну — и что же? Вытащили и стянули ремнями сундуки. Няня вынесла малыша. Вышли мистер и миссис Браунинг в дорожных костюмах. У двери стоял экипаж. Флаш философически ждал в передней. Раз они готовы, готов и он. И когда все уселись в карету, он одним махом легко прыгнул следом. В Венецию, в Рим, в Париж — куда? Все страны были теперь для него равны. Все люди ему были братья. Наконец он выучил этот урок. Но когда наконец он вышел из мрака, ему понадобилась вся его философия — он оказался в Лондоне.

Строгие кирпичные ряды домов четко вытянулись справа и слева. Вот из-за двери красного дерева с медным кольцом явилась дама, пышно облаченная в лиловые плавные бархаты. Светлая шляпка, мерцающая цветами, покоилась на волосах.

Подобрав одежды, она брезгливо озирала улицу, пока дворецкий спускал, избочась, ступеньки ландо. Всю Уимбек-стрит — ибо это была Уимбек-стрит — обтекал оранжевый блеск — не тот чистый, ясный блеск, что в Италии, но матовый, подернутый пылью от миллионов копыт, от миллионов колес. Лондонский сезон был в разгаре. Завеса густого гула, облако смешанных шумов одним протяженным громом накрыло город. Мимо гордая шотландская борзая влекла на поводке пажа. Мерной раскачкой плыл полисмен, поигрывая фонариком. Запах жаркого, запах рагу, запахи соусов и приправ неслись из каждого полуподвала. Ливрейный лакей бросал в почтовую тумбу письмо.

Ошеломленный величием метрополии, Флаш на миг застыл у порога. Уилсон тоже застыла. Какая бедная, если подумать, эта Италия, и ее дворцы, революции, и Великие Герцоги с их телохранителями! Когда мимо проплывал полисмен, она восслала хвалу небесам, что не вышла-таки за сеньора Ригхи. Но вот мрачная личность отделилась от двери углового трактира. И ухмыльнулась. Флаш опрометью кинулся в дом.

Несколько недель он был заточен в гостиную меблированных комнат на Уимбек-стрит. Заточение по-прежнему было необходимо. Разразилась-таки холера, и хоть кое-какому улучшению быта в «Грачевниках» она и вправду способствовала, но недостаточно все же, ибо собак по-прежнему воровали и собаки на Уимпол-стрит по-прежнему должны были ходить только на поводках. Флаш, разумеется, появился в обществе. Он виделся с собаками у почтовой тумбы, у трактира. И они приветствовали его возвращение с присущей им прирожденной учтивостью. В точности как английский пэр, проживший всю жизнь на Востоке и перенявший туземный обычай (намекают даже, будто он обращен в мусульманство и наградил китайскую прачку сыном), вновь заняв свое место при дворе, встречает в прежних друзьях готовность не замечать этих странных чудачеств, и его приглашают в Четсворт, ни словом, впрочем, не помянув о супруге и молчаливо предполагая, что он будет допущен

к семейным молитвам, — так же точно пойнтеры и сеттеры Уимпол-стрит приветствовали Флаша в своей среде, стараясь не замечать странностей его фигуры. Флашу, однако, казалось, что среди лондонских собак распространились унылые настроения. Все знали, что Нерон, пес миссис Карлейль, бросился из окна бельэтажа, покушаясь на самоубийство. Говорили, не вынес тяжелой жизни на Чейн-Роу. Флаш, оказавшись снова на Уимбек-стрит, легко мог такое себе представить. Заточение, толпы безделушек, по ночам тараканы и мухи днем, неизбывный запах баранины, назойливые бананы в буфете — все это, вместе с тесным соседством плотно одетых, редко и плохо мывшихся женщин и мужчин, утомляло и нервировало его. Он часами лежал под гостиничной шифоньеркой. Бежать на волю было нельзя. Парадную дверь запирали. Приходилось ждать, когда кто-нибудь удосужится надеть на него поводок.

Лишь два события нарушили течение скучных недель, проведенных им в Лондоне. В самом конце лета Браунинги отправились навестить преподобного Чарльза Кингсли в Фарнеме. В Италии земля была бы голая и жесткая, как кирпич. Лютовали бы блохи. Пришлось бы таскаться от тени к тени, благодаря хоть за тоненькую ее полоску, дарованную воздетой рукой какой-нибудь статуи Донателло. А в Фарнеме зеленели луга, синела вода; шушукались лесные деревья; и был такой нежный дерн, что на нем пружинили лапы. Браунинги и Кингсли провели вместе весь день. И вот когда Флаш трусил за ними следом, снова вдруг протрубил охотничий рог. Его охватило прежнее исступление. Заяц ли это, лисица ли? Флаш понесся по вереску Суррея, как он не носился со времен Третьей Мили. Фейерверком золотых и багряных искр взметнулся фазан, Флаш уже сомкнул было челюсти у него на хвосте, но тут прозвенел голос. Просвистел хлыст. Что это — неужто преподобный Чарльз Кингсли так резко его призывает к ноге? Во всяком случае, больше уж он не бегал. В Фарнеме леса строго охранялись.

Спустя несколько дней он лежал под шифоньеркой в гостиной на Уимбек-стрит, когда вошла миссис Браунинг,

одетая для прогулки, и вызвала его из-под шифоньерки. Она прикрепила к его ошейнику поводок, и, впервые после сентября 1846 года, они отправились вместе на Уимпол-стрит. Дойдя до двери пятидесятого номера, они остановились, как прежде. Как прежде, им пришлось подождать. Как прежде, дворецкий не торопился. Наконец дверь отворилась. Неужто это Катилина свернулся калачиком на подстилке? Старый беззубый пес зевнул, потянулся, не обращая на них никакого внимания. Они поднимались вверх так же тихонько, крадучись, как некогда однажды спускались. Очень тихо отворяя двери, будто боясь того, что она там может увидеть, миссис Браунинг ходила из комнаты в комнату. И делалась все печальней. «...Они показались мне,— писала она,— как-то меньше, темней, а мебель — неудобной и несообразной». По-прежнему постукивал в окно спальни плющ. По-прежнему дом напротив заслоняли веселые шторы. Ничего не изменилось. Ничего не случилось за все эти годы. Она ходила из комнаты в комнату, вспоминая плохое. Но задолго до того, как она кончила свой обход, Флаш начал безумно тревожиться. А вдруг нагрянет мистер Барретт? Нахмурится, взглянет, повернет ключ и навеки запрет их в спальне? Наконец миссис Браунинг затворила двери и, опять очень тихо, спустилась вниз. Да, решила она, в доме, кажется, не мешало бы сделать уборку.

После этого Флаш желал только одного: уехать из Лондона, уехать из Англии навсегда. Он не знал покоя, пока не очутился на палубе парохода, пересекавшего Ла-Манш. Была сильная качка. До французского берега — восемь часов. Пока пароход трясло и болтало, воспоминания вихрем проносились в голове у Флаша — дамы в лиловых бархатах, оборванцы с мешками; Риджентс-парк и королева Виктория, мелькнувшая мимо меж верховых; зеленые травы Англии, ее вонючие мостовые — все проносилось у него в голове, пока он лежал на палубе. Подняв глаза, он увидел высокого строгого господина, опершегося на перила.

— Мистер Карлейль! — услышал он возглас миссис

Браунинг. После чего (не забудем — была сильная качка) Флаша ужасно тошнило. Прибежали матросы с ведрами, с тряпками. «...Его решительно согнали с палубы, бедного пса», — рассказывала миссис Браунинг. Ибо палуба была английская. Собак не должно тошнить на палубах. Таков был его прощальный привет родным берегам.

## *Глава шестая*

### **Конец**

Флаш старел. Путешествие в Англию и воспоминания, которые оно воскресило, утомили его. Заметили, что теперь он предпочитает тень, а не солнце, правда, флорентийская тень жарче, чем солнце на Уимпол-стрит. Он мог часами дремать, растянувшись под статуей или устроившись под чашей фонтана ради редких капель, орошающих его шкуру. Вокруг собирались юные псы. Он им рассказывал про Уимпол-стрит и Уайтчепел; описывал запах клевера и запах Оксфорд-стрит; в который раз вспоминал одну революцию и другую — как приходили Великие Герцоги и уходили Великие Герцоги; но пестрая спаниелиха там налево по улице — она, он говаривал, остается вовек. И неистовый мистер Ландор, проходя мимо, в шутку грозил ему кулаком. А добрая Ида Блэгден останавливалась и вынимала из ридикюля обсахаренный бисквит. Крестьянки на рыночной площади постилали ему листья в тени своих корзин и бросали ему виноградные грозди. Его знала, его любила вся Флоренция — знатные и простолюдины, собаки и люди.

Но он старел и все чаще норовил прикорнуть, даже не у фонтана — ибо старые кости ломило на жестких булыжниках, — а в спальне у миссис Браунинг, там, где герб семейства Гуиди образовал на полу гладкий круг scagliol'ы\*, или в гостиной, под сенью стола. Вскоре после возвращения из Лондона он лежал там и крепко спал. Он спал крепко,

\* мозаики (итал.).

глубоким старческим сном без грез. Да, сегодня он спал даже особенно крепко, ибо, покуда он спал, вокруг него будто сгущалась тьма. Если что и снилось ему — ему снилось, будто он спит в дремучей чащобе, отрезанный от солнечных лучей, от человеческих голосов, и только нет-нет раздавался во сне сонный щебет уснувшей птицы или, когда ветер встряхивал ветки, жирный смешок замечтавшейся обезьяны.

И вот ветки вдруг раздвинулись. Прорвался свет — там и сям, слепящими лучами. Лопотали обезьяны. Птицы металась, гоготали, кричали. Разом он проснулся и вскочил. Вокруг была удивительная кутерьма. Укладывался он спать между ножек обычного стола. Теперь он был зажат между волнением юбок и метанием брюк. Более того — сам стол дико раскачивался из стороны в сторону. Флаш не знал, куда бежать. Господи, да что же это такое? Что случилось с беднягой столом? Флаш поднял голос, он взвыл протяжно и вопросительно.

На вопрос Флаша мы не можем дать удовлетворительного ответа. Лишь немногие, да и то самые голые факты — вот и все, чем мы располагаем. Короче говоря, предположительно в начале девятнадцатого столетия графиня Блессингтон купила у чародея хрустальный шар. Ее сиятельство «так и не научилась им пользоваться». Собственно, для нее он всегда оставался хрустальным шаром, и только. Однако после ее смерти произошла распродажа пожитков, шар перешел к другим, те «смотрели глубже и более чистым взглядом» и увидели в этом шаре кое-что еще, кроме хрусталя. Явился ли покупателем лорд Стэнхоуп, он ли смотрел «более чистым взглядом» — нигде не засвидетельствовано. Но верно то, что в 1852 году лорд Стэнхоуп сделался обладателем хрустального шара, и достаточно ему было в него заглянуть, как он среди прочего обнаружил там «солнечных духов». Разумеется, не такое это было зрелище, чтобы гостеприимный вельможа мог наслаждаться им один, и лорд Стэнхоуп взял за правило демонстрировать шар во время обеда и приглашать друзей, чтобы и те полюбовались на солнечных

духов. Что-то упоительное — только, впрочем, не для мистера Чорли — было в этом созерцании. Шары стали модой. И к счастью, один лондонский оптик скоро обнаружил, что и сам может изготавливать такие шары, не будучи ни египтянином, ни чародеем, хотя, разумеется, в Англии хрусталь был недешев. И многие в пятидесятые годы обзавелись шарами, хотя «иные, — по свидетельству лорда Стэнхоупа, — пользовались ими, не имея мужества в том признаться». Между тем духи взяли в Лондоне такую силу, что в публике замечалась некоторая тревога. И лорд Стэнли намекнул сэру Булвер-Литтону, что правительство намеревается назначить комитет, который бы «расследовал, сколько возможно, это явление». То ли слухи о намерениях правительства испугнули духов, то ли они, как и тела, предпочитают размножаться укромно, во всяком случае, духи несомненно стали выказывать признаки беспокойства и, спасаясь повальным бегством, нашли прибежище в ножках столов. Чем бы они ни руководствовались, выбор был удачен. Хрустальный шар — вещь дорогая, стол же есть почти у каждого. И когда миссис Браунинг вернулась зимой 1852 года в Италию, оказалось, что духи опередили ее. Они завелись во Флоренции чуть не в каждом столе. «От дипломатической миссии до английского аптекаря все «угощают столом». Когда собираются вокруг стола, то не ради того, чтобы играть в вист». Нет, конечно, — но ради того, чтобы расшифровывать сообщения ножек стола. Например, если вы спросите про возраст ребенка, стол, «изъясняясь весьма отчетливо, стучит ножками в соответствии с алфавитом». А если уж стол умеет вам сообщить, что собственному вашему ребенку четыре года, — то на что только он не способен! Вертящиеся столы рекламировались в лавках. Стены пестрели плакатами, прославляющими чудеса, «scoperte a Livorno»\*. К 1854 году — так быстро росло движение — «четыреста тысяч американских семейств засвидетельствовали, что поистине наслаждаются общением с духами». А из Англии

\* явленные в Ливорно (итал.).



пришло известие, что сэр Эдуард Булвер-Литтон\* вывез «многих стучащих духов Америки» к себе в Небуэрт с великолепнейшим результатом — маленький Артур Рассел узнал, например, созерцая «странного вида старого господина в жалком халатике», уставившегося на него во время завтрака, что сэр Эдуард Булвер-Литтон считает себя невидимым.

Когда миссис Браунинг как-то за обедом заглянула в хрустальный шар лорда Стэнхоупа, она ничего не увидела в нем, кроме, разумеется, интересного знаменья времени.

Дух солнца поведал, что ей предстоит дорога в Рим, а так как в Рим она ехать не намеревалась, она воспротивилась решению духов. «Но,— правдиво добавляет она,— я люблю все чудесное». Кто-кто, а она умела дерзать. Пустилась же она тогда с риском для жизни на Мэннинг-стрит. И открыла особый мир, какой ей и не снился, всего в получасе езды от Уимпол-стрит. Так отчего бы не быть еще и другому миру в полусекунде лёта от Флоренции — миру лучше, прекраснее нашего, миру, где живут мертвые, тщетно пытаюсь с нами связаться? Во всяком случае, надо рискнуть. И она села за стол. Явился мистер Литтон\*\*, блистательный сын невидимого отца; и мистер Фредерик Теннисон\*\*\*, и мистер Паурс, и мистер Виллари — и все сели за стол, и потом, когда стол отбрыкался, они кушали чай и клубнику со сливками, и пока «Флоренция таяла среди фиолетовых гор и высыпали звезды», они говорили, говорили, говорили, «... каких мы историй тогда ни рассказывали, в каких ни уверяли клятвенно чудесах! О, мы все тут уверовали, Иза, кроме Роберта...». А потом ворвался глухой мистер Киркап, тряся реденькой седой бородашкой. Он пожаловал лишь затем, чтобы возвестить: «Духовный мир существует! Есть жизнь после смерти! Верую! Наконец убедился!» Ну, а если уж мистер Киркап, который всегда был «чуть ли не атеист», обратился лишь от-

\* Эдуард Джордж Булвер-Литтон (1803—1873) — известный английский писатель.

\*\* Эдуард Роберт Булвер-Литтон (1831—1891) — сын писателя, дипломат, с 1876 г. — вице-король Индии.

\*\*\* Теннисон Фредерик (1807—1898) — старший брат Альфреда Теннисона; поэт.

того, что услышал (при своей глухоте) «три столь громких удара, что даже подпрыгнул», то ей ли, миссис Браунинг, оставаться в стороне от стола? «Я ведь скорее, знаете, мистик и тычусь во все двери этого мира, стараясь выйти наружу». И она скликала верных в Casa Guidi. И они сидели в гостиной, положив руки на стол и стараясь выйти наружу.

Флаш вскочил с ужасным предчувствием. Стол стоял на одной ножке. Но что бы ни видели и ни слышали дамы и господа вокруг стола — Флаш ничего не видел и не слышал. Правда, стол стоял на одной ножке, но так же встанет и всякий стол, если его хорошенько прижать с одного боку. Флаш и сам опрокидывал столы, и ему доставалось за это. Но сейчас миссис Браунинг широко раскрытыми большими глазами смотрела в окно, будто видела что-то прекрасное. Флаш бросился на балкон. Может, какой новый Великий Герцог проезжает среди флагов и факелов? Нет, нигде ничего, только старуха нищенка съежилась на углу над корзиной со своими арбузами. А миссис Браунинг определенно видела что-то. И определенно что-то чудесное. Так вот когда-то на Уимпол-стрит она расплакалась ни с того ни с сего, и он тоже не видел никакой причины. А в другой раз она хохотала и совала ему под нос каракули с кляксой. Но сейчас было не то. Что-то в ее взгляде его испугало. И что-то в комнате ли, в столе или в юбках и брюках ужасно было противное.

Шли недели, а это увлечение невидимым все больше охватывало миссис Браунинг. Сверкал, скажем, ясный солнечный день, а ей не хотелось погулять, посмотреть, как туда-сюда юркают ящерицы, нет, она оставалась сидеть за столом; сияла синяя звездная ночь, а она не читала свою книжку, не водила рукой по бумаге, нет, она — если мистер Браунинг отлучился — призывала Уилсон, и Уилсон являлась позевывая. И обе сидели за столом, пока этот предмет обстановки, чье главное назначение — давать тень, не начнет брыкаться, и тогда миссис Браунинг вскрикивала, что это он предрекает Уилсон болезнь. Уилсон возражала, что ей просто спать охота. Но потом и сама Уилсон —

суровая, стойкая британка Уилсон — вопила и падала в обморок, и миссис Браунинг металась в поисках гигиенического укуса. Очень глупо, по мнению Флаша, было убивать на такие занятия вечер. Уж лучше бы почитать книжку.

Вечная суэта, неразборчивый, но в высшей степени непривлекательный запах, брыканья, вскрики и укус несомненно действовали Флашу на нервы. Хорошо, когда малыш Пеннини молился: «Пусть у Флаша волосики вырастут»; вполне понятные устремления. Но форма молитвы, которая требует присутствия дурно пахнущих, скверно выглядящих людей и диких выходов со стороны солидного с виду предмета черного дерева, безмерно его раздражала, как раздражала она здорового, разумного, элегантного господина — его хозяина. Но больше всяких запахов, больше всяких выходов удручал Флаша этот взгляд миссис Браунинг, когда она смотрела в окно, будто видела что-то чудесное там, где ничего не было. Флаш вставал прямо против нее. Она смотрела сквозь, будто его тут и нет. Этот ее убийственный взгляд был хуже всего. Хуже, чем ее холодный гнев, когда он укусил за ногу мистера Браунинга; хуже, чем ее язвительный смех, когда ему прищемило лапу возле Риджентс-парка. Ей-богу, иногда он грустил даже по Уимполстрит и тамошним столам. Столы в пятидесятом нумере никогда не скакали на одной ножке. Обведенный кружком столик, на котором лежали ее украшения, всегда стоял совсем тихо.

В те невозвратные дни ему достаточно было прыгнуть на кушетку, и мисс Барретт, тотчас очнувшись, смотрела на него. И вот он прыгнул на кушетку. Она не обратила на него внимания. Она продолжала писать: «...и по приказанию медиума руки духа взяли со стола гирлянду, которая там лежала, и возложили мне на голову. Та именно рука, которая исполняла это, была величиною с самую большую человеческую руку, притом белоснежная и редкой красоты. И была она от меня так же близко, как моя собственная рука, выводящая эти строки, и я с той же отчетливостью ее видела». Флаш действительно потерял ее лапой. Она посмотрела

на него так, будто он невидимый. Он соскочил с кушетки и побежал вниз, на улицу.

Был палящий, слепящий день. Старуха нищенка на углу дремала над своими арбузами. Солнце, будто жужжа, повисло в воздухе. Знакомыми улицами, держась теневой стороны, Флаш трусил к базарной площади. Она вся сияла навесами, рядами, зонтами. Торговки сидели возле корзин; суетились голуби, захлебывались колокола, щелкали хлысты. Туда-сюда, нюхая, щупая, рыскали разноцветные дворняги Флоренции. Все кипело, как улей, полыхало, как печь. Флаш выискал себе местечко. Он плюхнулся рядом с Катариной, своей приятельницей, возле ее корзин. Красные и желтые цветы в темном ведре бросали тень рядом. Статуя над ними, простерши правую руку, эту тень сгущала, делала фиолетовой. Флаш лежал и смотрел на молодежь, занятую своими делами. Они рычали, кусались, кувыркались, катались в полном самозабвении юного счастья. Они без передышки, без усталости гоняли друг друга, как и он когда-то гонял свою пеструю спаниелиху. На миг его мысли перенеслись в Рединг, к собаке мистера Партриджа, к первой любви, к чистоте и восторгам юности. Что ж, он свое пожил. И он не завидовал молодым. Ему понравилось жить на этом свете. Он и теперь на него не в обиде. Катарина чесала его за ухом. Она его колачивала, бывало, если стянет у нее виноград, и еще за кой-какие грешки. Но теперь он стал старый. И она стала старая. Он стерег ее арбузы, она чесала его за ухом. Она вязала, он подремывал. Над большим арбузом, казавшим красное вспоротое нутро, качался мушиный рой.

Солнце проливалось сквозь листья лилий и бело-зеленый зонт. Мраморная статуя подмешивала к его жару покалывающую свежесть шампанского. Флаш лежал, подставляясь теплу, прогревая всю шерсть до кожи. И, поджарясь, переворачивался, чтоб и другой бок тоже прогрелся. А на базаре все время болтали и торговали; ходили женщины; останавливались, трогали фрукты и овощи. Голоса сливались в ровный, шуршащий гул, который так любил слушать Флаш.

Скоро он уснул под тенью лилий. Он спал так, как собаки спят, когда видят сны. Вот задергались лапы — может быть, ему снилось, что он в Испании, гонит кроликов? И мчится вверх раскаленным склоном с темнолицыми горцами, и те орут: «Спан! Спан!», и кролики прыскают из зарослей... Он снова затих. И вдруг залаял. Он тьякнул коротенько, тонко, еще и еще. Возможно, услышал, как мистер Митфорд на охоте в Рединге науськивает борзых... Потом он стал кротко вилять хвостом. Не мисс Митфорд ли кричала: «Гадкий пес! Гадкий пес!», стоя в его сне среди реп и махая зонтиком, пока он виновато к ней возвращался? А потом он всхрапнул, погрузясь в глубокий сон безмятежной старости. И вдруг по нему прошла дрожь. Он вскочил как ужаленный. Что привиделось ему? Что он на Уайт-чепел, среди бандитов? И к горлу снова подносят нож?

Как бы там ни было, проснулся он в ужасе. Он пустился бежать, будто спасался от беды, от неминуемой гибели. Торговки хохотали, запускали в него гнилым виноградом, звали его. Он и не слышал. Несясь по улицам, он не раз чуть не угодил под колеса, и возницы ругались и стегали его для острастки хлыстом. Полуголые детишки швыряли в него камешками, кричали «Matta! Matta!»\*. Выбегали матери, подхватывали их, поскорей уносили в дом. Уж не сошел ли он с ума? Перегрелся на солнце? Или вдруг снова услышал Венерин охотничий рог? Или американский стучащий дух из обитающих в ножках стола и до него наконец-то добрался? Как бы там ни было, он летел стрелой из улицы в улицу, пока не достиг дверей Casa Guidi. Он бросился прямо наверх и вбежал прямо в гостиную.

Миссис Браунинг лежала на кушетке и читала. Она вздрогнула и подняла глаза, когда он вошел. Нет, это не дух — всего только Флаш. Она засмеялась. Потом, когда он прыгнул на кушетку и ткнулся мордой ей в лицо, ей вспомнились собственные строчки:

\* Бешеная! Бешеная! (итал.).

Пред вами пес. Объятая тоской,  
Забыв о нем, я грезам предалась,  
Как слезы, за мечтой мечта лилась.  
Вдруг у подушки над моей щекой

С лохматой, как у Фавна, головой  
Предстал владелец золотистых глаз,  
Со щек он слезы мне смахнул тотчас  
Обвислым ухом, словно бог живой.

Тогда аркадской нимфой стала я,  
Козлиный бог мою тревожит кровь,  
Жду Пана в темной роще у ручья,

Но вижу Флаша, расцветают вновь  
Восторг и грусть — Пан вечен, нам даря  
Чрез дольных тварей горную любовь\*.

Она написала эти строчки однажды, давным-давно, на Уимпол-стрит, когда была очень несчастна. Прошли годы, она была счастлива теперь. И она старела. И Флаш старел. На мгновение она склонилась над ним. Большеротая, большеглазая, с тяжелыми локонами вдоль щек, она по-прежнему до странности походила на Флаша. Расколотые надвое, но вылитые в одной форме — не дополняли ли они тайно друг друга? Но она была женщина. Он — пес. Миссис Браунинг снова принялась за чтение. Потом она опять посмотрела на Флаша. Но он не ответил на ее взгляд. Необычайная перемена произошла в нем. Она закричала: «Флаш!» Он не ответил. Только что он был живой. А теперь лежал мертвый. Вот и все. Стол гостиной, как ни странно, стоял совсем тихо.

\* Перевод А. Солянова.

## Источники

Нужно сознаться, что источники вышеизложенной биографии весьма скудны. Однако читателя, который захочет проверить факты или углубиться в предмет, отсылаем к материалам:

«Флашу, моему псу»,

«Флаш, или Фавн» — стихотворения Элизабет Барретт-Браунинг.

Письма Роберта Браунинга к Элизабет Барретт-Браунинг (в 2-х томах).

Письма Элизабет Барретт-Браунинг, изданные Фредериком Кеньоном (в 2-х томах).

Письма Элизабет Барретт-Браунинг Хенгисту Хорну, изданные Таунсендом Майером (в 2-х томах).

Элизабет Барретт-Браунинг. Письма к сестре (1846—1859), изданные Леонардом Хаксли.

Перси Лаббок. «Элизабет Барретт-Браунинг в своих письмах».

Упоминания о Флаше имеются также в письмах Мэри Рассел Митфорд, изданных Чорли (в 2-х томах).

Относительно «Грачевников» Лондона см.: Томас Бимз. «Грачевники» Лондона» (1850).

## Примечания

Стр. 141: «из чего-то такого раскрашенного». Мисс Барретт пишет: «У меня в открытом окне прозрачные шторы». И прибавляет: «Папа меня корит сходством с лавкой готового платья, однако ж ему самому положительно нравится, когда замок вспыхивает на солнце». Одни полагают, что замок и прочее были нарисованы на тонкой металлической основе; другие — что это были муслиновые занавески, все в вышивке. Установить истину с точностью едва ли возможно.

Стр. 151: «мистер Кеньон был слегка шепеляв по причине отсутствия двух передних зубов». Здесь допущены некоторое преувеличение и натяжка. В основу положено свидетельство мисс Митфорд. Известно, что она сказала в беседе с мистером Хорном: «Наш милый друг, сами знаете, никого не видит, кроме домашних да еще двух-трех лиц. Она высоко ценит выразительное чтение и тонкий вкус мистера К. и просит его ей читать ее новые стихи... Так что мистер К. стоит на каминном коврике, поднимая манускрипт и голос, а друг наш — вся слух — лежит на кушетке, окутавшись индийскою шалью, потупясь и склоняя длинные черные кудри. Теперь добрый мистер К. лишился переднего зуба, правда, не совсем переднего, но почти переднего, а это, понимаете ли, влечет за собою неверную дикцию, приятную нечеткость, легкое скольжение и слияние слогов, так что порою столпы от толпы даже не отличишь». Едва ли можно усомниться, что мистер К. — не кто иной, как мистер Кеньон; причины конспирации — в особенной стыдливости викторианцев, когда речь идет о зубах. Но тут же встает и другая, более важная для английской литературы проблема. Мисс Барретт долго обвиняли в недостатке слуха. Мисс Митфорд утверждает, что скорей следует обвинять мистера Кеньона в недостатке зуба. С другой стороны, сама мисс Барретт



утверждает, что рифмы ее никак не обусловлены ни дефектами его зубов, ни дефектами ее ушей. «Много внимания,— пишет она,— куда больше, чем потребовалось бы на поиски совершенно точных рифм, уделила я раздумьям над рифмой и хладнокровно решила пойти на кое-какие смелые опыты». Эти опыты нам известны. Решать, конечно, профессорам. Но, знакомясь с характером миссис Браунинг и ее поступками, всякий склонен будет заключить, что она своевольно нарушала правила и в творчестве, и в любви, а значит, тоже повинна в развитии современной поэзии.

Стр. 158: «желтые перчатки». Миссис Опп в своей «Жизни Браунинга» отмечает, что он носил желтые перчатки. Миссис Брайдл-Фокс, встречавшаяся с ним в 1835—1836 гг., сообщает: «...Он был тогда строен, смугл, очень собою хорош и, я бы даже сказала, франт, любил лимонно-желтые перчатки и тому подобные вещи».

Стр. 169: «Его украли». Собственно, Флаша крали три раза. Но ради единства действия, по-видимому, лучше свести три кражи к одной. Всего мисс Барретт выплатила ворами 20 фунтов.

Стр. 180: «... эти лица». Они... вернутся к ней... на балконе под солнцем Италии». Читатели «Авроры Ли»...— но поскольку таковых не существует, следует объяснить, что миссис Браунинг написала поэму под этим названием, и один из самых ярких ее пассажей (невзирая на некоторую смещенность, естественную, если художник видел предмет только раз, да и то с высоты наемной кареты, и притом еще Уилсон дергала за подол) — это описание лондонских трущоб. У миссис Браунинг безусловно был живой интерес к людям, которого никак не могли удовлетворить бюсты Чосера и Гомера.

Стр. 189: «Лили Уилсон влюбилась... в сеньора Ригхи из герцогской стражи». Жизнь Лили Уилсон совершенно не изучена и прямо-таки взывает к услугам биографа. Ни одно лицо из переписки Браунингов, кроме главных героев, не подстрекает так нашего любопытства и так не обманывает

его. Имя ее Лили, фамилия Уилсон. Вот и все, что мы знаем о ее рождении и воспитании. Была ли она дочкой фермера по соседству в Хоуп-Энд и произвела приятное впечатление на кухарку Барреттов благопристойностью манер и чистотою фартука, столь приятное, что когда ее по какой-то надобности прислали в господский дом, миссис Барретт нашла повод явиться на кухне и, тотчас одобрив выбор кухарки, взяла Лили горничной к мисс Элизабет; или она была кокни; или она была из Шотландии — установить невозможно. Во всяком случае, в 1846 году она служила у Барреттов. Она была «дорогая служанка». Ей платили 16 фунтов в год. Коль скоро говорила она почти так же редко, как Флаш, черты ее характера мало известны; а коль скоро про нее мисс Барретт стихов не писала, наружность ее куда менее известна, чем его наружность. Однако по кое-каким строкам из писем ясно, что сначала она была из тех чинных, почти нечеловечески исправных горничных, которые составляли тогда славу английских полуподвалов. Уилсон, очевидно, истово придерживалась правил и церемоний. Уилсон, без сомнения, блюла «места»; она бы первая настаивала на том, чтоб низшая прислуга ела свой пудинг в одном помещении, а высшая прислуга в другом. Все это проглядывает в декларации, которую она сделала, когда побила Флаша рукой: «так ему следует». Того, кто читит обычай, естественно, ужасает всякое его нарушение; потому, столкнувшись с иными обычаями на Мэннинг-стрит, она куда больше перепугалась и куда больше верила, что их могут убить, чем в это верила мисс Барретт. Но геройство, с каким она поборолла свой ужас и села в карету с мисс Барретт, доказывает, как истово блюла она и другой обычай — верность хозяйке. Раз едет мисс Барретт — Уилсон тоже поедет. Этот же принцип она провела блестяще во время побега. Мисс Барретт сомневалась в мужестве Уилсон; и сомнения оказались неосновательны. «Уилсон,— писала она, и это были последние ее строки, которые она писала мистеру Браунингу, еще оставаясь мисс Барретт,— была великолепна. А я-то! Называть ее робкой, страшиться ее робости!

Я начинаю думать, что никто не бывает так храбр, как робкий, если его раззадорить». Стоит, однако, в скобках остановиться на превратностях жизни служанки. Не последуй Уилсон тогда за мисс Барретт, ее, как мисс Барретт знала, «вышвырнули бы на улицу еще до захода солнца» с несколькими шиллингами, скопленными из ее шестнадцати фунтов в год. И что бы она тогда стала делать? Но поскольку английских романистов сороковых годов не занимала жизнь горничных, а биографы никогда не опускали так низко свой пылкий фонарь, вопрос остается без ответа. И Уилсон решилась. Она объявила, что «пойдет за мной на край света». Она бросила полуподвал, свою комнату, весь мир Уимпол-стрит, воплощавший для нее цивилизацию, здравомыслие и благопристойность, ради дикой, распутной, безбожной чужбины. Нет ничего любопытней борьбы, разыгравшейся там между тонкими английскими понятиями Уилсон и ее естеством. Она презрела итальянский Двор; ее ужаснула итальянская живопись. Но хотя «ее отпугнула непристойность Венеры», Уилсон, к чести ее будь сказано, кажется, сообразила, что женщины под одеждой все голые. Ведь и сама-то я, подумала она, вероятно, две-три секунды в день голая бываю. А потому «она решилась снова попробовать и мучительную стыдливость, быть может, удастся преодолеть». Известно, что удалось это очень скоро. Уилсон не просто смирилась с Италией; она влюбилась в сеньора Ригхи из герцогской стражи («все они на прекрасном счету, весьма порядочные люди и футов шести ростом»), надела обручальное кольцо; отказала лондонскому воздыхателю; и училась говорить по-итальянски. Далее все вновь покрывается туманом. Когда же он рассеивается, мы видим Уилсон покинутой. «Неверный Ригхи порвал помолвку с Уилсон». Подозрение падает на брата сеньора Ригхи, оптового торговца щепетильным товаром в Прато. Выйдя из герцогской стражи, Ригхи, по совету своего брата, занялся галантерейным делом. Требовало ли его новое положение осведомленности жены в щепетильной торговле, удовлетворяла ли этому требованию одна из девушек Прато — изве-

стно одно: он не писал Уилсон так часто, как следовало. Но чем «весьма порядочный человек на прекрасном счету» довел к 1850 году миссис Браунинг до восклицания: «Уилсон решительно с этим покончила, что делает честь ее нравственному чувству и разуму. Как бы могла она и дальше любить такого человека?» Отчего Ригхи за столь короткий срок превратился в «такого человека» — сказать мы не можем. Покинутая им, Уилсон все больше и больше привязывалась к семье Браунингов. Она не только исправляла обязанности горничной, но еще и пекла пироги, шила платья и стала преданной нянькой малышу, Пеннини; так что Пеннини даже произвел ее в ранг члена семьи, к которой она по справедливости принадлежала, и отказывался называть ее иначе как Лили. В 1855 году Уилсон вышла замуж за Романьоли, слугу Браунингов, «славного человека с добрым сердцем», и какое-то время они вдвоем вели хозяйство Браунингов. Но в 1859 году Роберт Браунинг «взял на себя опеку над Ландором», задачу нелегкую и ответственную, ибо Ландор был несносен. «Сдержанности в нем никакой,— писала миссис Браунинг,— и ужасная подозрительность». И вот Уилсон произвели в его домоправительницы с жалованьем двадцать два фунта в год, «кроме того, что оставалось от его довольствия». Потом жалованья прибавили до тридцати фунтов, так как роль домоправительницы при «старом льве» с «замашками тигра», который швыряет тарелку за окно или об пол, когда ему не по вкусу обед, и подозревает слуг в том, что они лезят по шкафам, «связана,— замечает миссис Браунинг,— с известным риском, которого я бы, например, постаралась избежать». Но Уилсон знавала мистера Барретта в гневе, и несколько тарелок больше или меньше летело в окно или хлопалось об пол — это уж для нее были мелочи жизни.

Жизнь эта, насколько она доступна нашему взгляду, была, конечно, странная жизнь. Началась ли она в глухом уголке Англии или в каком другом месте — кончилась она в Венеции, в Палаццо Реццониго. Там, во всяком случае, она жила еще в 1897 году, вдовой, в доме того самого мальчика, кото-

рого она нянчила и любила, — мистера Барретта-Браунинга. Да, очень странная жизнь, думала она, наверное, когда сидела в красных лучах венецианского заката и дремала — старая, старая женщина. Подружки ее повыводили за работников и по-прежнему, верно, шлепали по проселкам за пивом. А она вот сбежала с мисс Барретт в Италию; и чего ни понавидалась — революций, телохранителей, духов; и мистер Ландор швырял тарелки в окно. А потом умерла миссис Браунинг — да, много всяких мыслей роилось в голове у старой Уилсон, когда она сидела вечером у окна в Палаццо Реццонико. Но напрасно стали бы мы прикидываться, будто можем их разгадать, ибо была она из той несчетной армии своих сестер — непроницаемых, почти неслышных, почти невидимых горничных, — что прошла по нашей истории. «Более честного, благородного и преданного сердца, чем Уилсон, нигде не найти», — эти слова ее госпожи пусть будут ей эпитафией.

Стр. 199: «...его изводили блохи». В середине прошлого века Италия, кажется, славилась блохами. Они помогали даже преодолевать условности, иначе незыблемые. Когда, например, Натаниел Готорн был в гостях у мисс Бремер в Риме (1858), «...мы говорили о блохах — эти насекомые в Риме никого не минуют и не милуют и столь привычны и неизбежны, что на них принято жаловаться, ничуть не стесняясь. Одна блоха нещадно мучила мисс Бремер, бедняжку, пока та разливала нам чай».

Стр. 203: «Нерон бросился из окна бельэтажа...» Нерон (1849—1860), согласно Карлейлю, был «маленький кубинский (мальтийский? А то и безродный) пудель; почти весь белый — чрезвычайно ласковый, веселый песик, не обладавший иными достоинствами и почти совсем невоспитанный». Материалов для его жизнеописания сохранилось множество, но здесь не место использовать их. Достаточно сказать, что его украли; что он явился к Карлейлю с прикрепленным к ошейнику неподписанным чеком на сумму, достаточную для покупки коня; что «два или три ра-

за я бросал его в море (в Абердуре), и это вовсе ему не понравилось»; что в 1850 году он выпрыгнул из окна кабинета и, миновав подвальные колышки, упал «плашмя» на мостовую. «Он позавтракал,— сообщает миссис Карлейль,— и стоял в открытом окне, наблюдая птиц... Я лежала в постели и вдруг слышу за деревянной перегородкой голос Элизабет: «Господи! Нерон!» — и она молнией кинулась вниз... Я вскочила и побежала, уже ей навстречу, в ночной рубашке... М-р К. вышел из спальни с намыленным подбородком и спросил: «Что такое с Нероном?» — «Ох, сэр, как бы он все ноги себе не переломал, он выскочил из *вашего* окна!» — «Ах боже ты мой», — сказал м-р К. и пошел бриться дальше». Кости, однако, остались целы, и он выжил, но попал под тележку мясника и погиб от увечий 1 февраля 1860 года. Он покоится в углу сада в Чейн-Роу под маленькой каменной табличкой.

Вопрос о том, намеревался ли Нерон покончить с собой или всего лишь, как позволительно заключить из свидетельства миссис Карлейль, погнался за птичкой, мог бы послужить поводом для интереснейшего трактата о психологии собак. Одни полагают, что пес Байрона сошел с ума вследствие единомыслия с Байроном; другие — что Нерона довело до безысходной тоски общество мистера Карлейля. Вообще же более широкая проблема: как сказывается на собаках дух эпохи, и можно ли одного пса причислить к елизаветинцам, другого к георгианцам, а третьего к викторианцам в соответствии с тем влиянием, какое на них оказала философия и поэзия их хозяев, заслуживает подробного рассмотрения в особом исследовании. Пока мотивы Нерона остаются невыясненными.

Стр. 208: «Сэр Эдуард Булвер-Литтон считает себя невидимым». Миссис Джэксон в «Викторианском детстве» пишет: «Лорд Артур Рассел мне рассказывал, спустя уже много лет, как мать возила его мальчиком в Небуэрт. Утром, когда он сидел за столом и завтракал, появился странного вида старый господин в жалком халатике и стал медленно

обходить вокруг стола, вглядываясь по очереди в лицо каждого гостя. Лорд Артур услышал, как сосед его матери ей шепнул: «Не обращайтесь на него внимания. Он считает себя невидимым». То был лорд Литтон собственной персоной» (стр. 17—18).

Стр. 213: «А теперь лежал мертвый». Точно известно, что Флаш умер, но когда и при каких обстоятельствах, мы не знаем. По единственному сохранившемуся свидетельству «Флаш дожил до прекрасной старости и похоронен под Casa Guidi». Миссис Браунинг похоронена на Английском кладбище во Флоренции, Роберт Браунинг — в Вестминстерском аббатстве. Флаш до сих пор лежит, стало быть, под тем домом, где жили когда-то Браунинги.



Вид с веранды Эшем-хауса в Суссексе,  
где Вирджиния Вулф  
часто отдыхала летом.

# Содержание

- 5 *Е. Гениева. Она и музыка и слово...*
- 19 *Дом с привидениями. Перевод Н. Васильевой*
- 21 *Понедельник ли, вторник... Перевод Н. Васильевой*
- 22 *Ненаписанный роман. Перевод Л. Беспаловой*
- 35 *Струнный квартет. Перевод Е. Суриц*
- 40 *Королевский сад. Перевод Д. Аграчева*
- 47 *Пятно на стене. Перевод Н. Васильевой*
- 55 *Новое платье. Перевод Е. Суриц*
- 64 *Фазанья охота. Перевод Е. Суриц*
- 72 *Лапин и Лапина. Перевод Л. Беспаловой*
- 81 *Реальные предметы. Перевод Д. Аграчева*
- 88 *Женщина в зеркале. Отражение. Перевод М. Лорие*
- 94 *Люби ближнего своего. Перевод М. Лорие*
- 101 *Предки. Перевод Н. Буровой*
- 104 *Прожектор. Перевод Д. Аграчева*
- 109 *Наследство. Перевод М. Лорие*
- 117 *Вместе и порознь. Перевод Д. Аграчева*
- 124 *Итог. Перевод Е. Суриц*
- 129 *Флаш. Биографический очерк. Перевод Е. Суриц*



**Вулф В.**

**В 88 Флаш: Рассказы. Повесть/ Пер. с англ.  
Сост. и предисл. Е. Гениевой.— М.: Извест-  
тия, 1986.— 224 с. (Библиотека журнала  
«Иностранная литература»)**

В книгу включены рассказы и повесть известной английской пи-  
сательницы, мастера «новой прозы», которая, по словам ее коллег,  
«прикоснулась к подлинной жизни ума и сердца...».

**В 4703000000-068**  
**074(02)-86** 80-86

**ББК 84. 4Вл**  
**И(Англ)**

**ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ**

**ФЛАШ**

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *А. Николаевская*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

**ИБ № 1086**

---

Сдано в набор 04.07.85. Подписано в печать 22.10.85.  
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура  
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт.  
18,5. Уч.-изд. л. 10,7. Тираж 50 000 экз. Зак. № 684.  
Цена 1 р. 20 к.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов  
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при  
Государственном комитете СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли. 143200. Можайск,  
ул. Мира, 93.

---

### Вирджиния Вулф

(1882—1941) — классик английской литературы XX века, мастер психологической прозы, выдающийся стилист, критик. Русскому читателю известен роман Вирджинии Вулф "Миссис Дэллоуэй" (1925).

На этот раз его вниманию предлагаются образцы "малой прозы" писательницы: рассказы, взятые из сборников "Понедельник ли, вторник..." (1921) и "Дом с привидениями" (изд. посмертно в 1944 г.), повесть "Флаш" (1933).



Тяжущие поколения уверенно отведут этой писательнице почетное место в истории английской литературы... Они воссоздадут для себя облик этой удивительной женщины — обаятельной, красивой, образованной, доброй, остроумной, наделенной поистине каким-то безудержным интересом к жизни... В течение долгих лет она была центром литературной жизни Лондона... символом эпохи...

Т. С. ЭЛИОТ